

Роберт РИДЕЛЬ

Ограничения

Нету легких времен.
И в людскую врезается память
Только тот,
кто пронес эту тяжесть
на смертных плечах.

*Наум Коржавин,
1952 г.*

Мы жили на Волге, в городе Энгельс, главном городе Республики Немцев Поволжья. У меня были каникулы, осенью я должен был пойти во второй класс. Но началась война, и нашу семью, как и всех “советских” немцев, отправили на восток. После двух недель езды в телячьем вагоне мы оказались в Красноярском крае.

Родителей мобилизовали в трудармию: отца — в лагеря Вятлага, маму — в тогдашнюю Бурят-Монголию. Какое-то время я жил у чужих людей, потом попал в детприемник, жил в детских домах Сибири и Урала (один из детских домов, когда я в него приехал, был исправительным, другой — школой глухонемых).

С отцом мы встретились в 1948 году в Казахстане, с мамой — в 1953 году, через десять лет, как мы с ней расстались.

Несмотря на все мои приключения (учиться мне пришлось в шести разных школах, один год пришлось пропустить), я закончил десятилетку. Потом, и тоже не сразу, я получил высшее образование. Много лет работал.

Когда меня спрашивают о моем детстве, после моих ответов всегда возникают новые вопросы. Почему я провел годы в детских домах и жил в чужой семье, имея родителей? Как, находясь среди беспризорной шпаны и малолетних преступников, я не стал уголовником? Как я, детдомовец и спецпереселенец, смог получить образование, стать специалистом?

На все эти вопросы просто не ответишь. И я решил записать историю моего детства.

Свой рассказ я начну с 1941 года (когда мне было восемь лет) и закончу 1953 годом, когда мне исполнилось двадцать один год и по всем европейским понятиям я стал уже взрослым.

1. Тетрадка по чистописанию

Учиться в первом классе мне было скучно. Читать я научился еще до школы, а выводить буквы на уроках чистописания у меня не хватало

терпения. Перед летними каникулами учительница вручила мне чистую тетрадку и сказала, что летом я должен выполнять в ней упражнения по чистописанию, и только тогда она переведет меня во второй класс.

Лето 41-го года было теплое, солнечное, и я днями пропадал на улице. С соседскими мальчишками мы шумно играли в войну, делали вылазки к летному училищу, где у авиационных мастерских находили детальки от настоящих самолетов, бегали на старое кладбище, разыскивали красивые памятники и по буквам читали старинные надписи.

Иногда мне разрешали сходить в кино на дневной сеанс. В кинотеатр, который находился в центре города, я добирался городским автобусом и всегда приезжал заранее, чтобы успеть рассмотреть развешанные в фойе фотографии, которые постоянно обновлялись, полистать журналы. Звучал первый звонок, и толпа детей спешила в зал. После третьего звонка в зале гас свет и происходило чудо: на большом экране возникал серый с белыми искрами фон, потом слегка дрожащий текст, появлялись люди, и начиналось кино! И я не переставал удивляться, как это получается, что на экране все движется, а на киноплёнке, обрывки которой мы находили, картинки неподвижны?

Кинофильмов тогда было мало, и все они нам очень нравились. Посмотрев очередную картину, мы ее горячо обсуждали и, перебивая друг друга, громко пересказывали отдельные эпизоды.

Иногда я не сразу ехал домой, а отправлялся на Волгу, на городской пляж (что мне строжайше запрещали). Автобусом я доезжал до грузовой пристани, недалеко от которой находился пляж.

У грузовой пристани я всегда задерживался: здесь была своя интересная жизнь. Кругом пахло рыбой и смолой, возле пристани и вдоль берега стояли черные с коричневым верхом баржи, на берегу лежали штабелы мешков, деревянных бочек, ящиков, каких-то грузов. Пристань соединялась с берегом широким мостком.

Шла разгрузка баржи, стоявшей у пристани, и по мостку в обоих направлениях двигались грузчики с козлами (двуручными носилками) за спиной. Грузчики, полусогнувшись, несли на берег мешки, кирпичи, какие-то тюки, двое из них скатывали деревянную бочку. Сбросив груз, грузчики почти бегом возвращались на баржу и, взвалив новую ношу, опять спускались на берег.

Налюбовавшись этой картиной, я шел вдоль берега к лодочному перевозу. Там я забирался в большую лодку, в которой уже сидели пассажиры, и дядька лодочник, ритмично скрипя уключинами, перевозил нас через рукав Волги на остров, где находился городской пляж.

Наплескавшись на мелководье и навалявшись на теплом мелком песке, я на той же лодке возвращался на берег, шел к автобусной остановке и отправлялся домой.

Об этих моих путешествиях родители, конечно, не знали, а деньги на поездки у меня были: мама давала на карманные расходы.

Еще я любил читать книжки, которые брал в школьной библиотеке. Сначала мне давали только тонкие книжки, сообразно возрасту. Такую книжку я прочитывал по дороге домой и с полпути возвращался за следующей. Мне не верили, задавали вопросы по книжке. Потом разрешили брать книжки потолще, и я просиживал часы за их чтением.

Все было хорошо на каникулах, но когда я вспоминал про тетрадку по чистописанию, все еще чистую, настроение портилось.

Для взрослых это было непростое время. Еще свежа была память о репрессиях тридцатых годов, когда посадили нескольких знакомых моих родителей. Кроме тихих разговоров на эту тему, это время мне запомнилось тем, что перепуганные и несильные в грамоте родители для демонстрации своей лояльности купили “Краткий курс истории ВКП(б)” (который листал потом только я), а вместо коврика над моей кроватью они повесили плакат с портретами членов политбюро. Суровые лица этого “политбюро” надолго врезались в мою детскую память...

Только недавно закончилась негромкая финская война. В городе появились очереди за хлебом, были перебои с продуктами. Где-то в Европе воевала Германия, в которой были фашисты — враги Советского Союза (я это знал из киножурналов и политических карикатур).

От всего этого в доме было беспокойно. Родителей особенно волновала война в Европе: если фашисты станут воевать с Советским Союзом, то советских немцев опять начнут арестовывать, как это было в тридцать седьмом.

Показывая кому-то журнал, в котором был фоторепортаж о приезде в Москву какого-то германского министра, отец с облегчением сказал:

— Ну вот, войны с Германией не будет!

Но он, как и многие, ошибся: война началась.

В первый день войны по радио передавалось обращение к народу, были тревожные сообщения о бомбежках, постоянно звучали боевые марши и громкие песни. Я тоже проникся ненавистью к напавшему на нас врагу и крупным почерком первоклассника написал что-то вроде патриотического стихотворения.

На нашей городской окраине мало что изменилось. Только иногда объявлялись учебные воздушные тревоги, нас стали учить пользоваться противогазом, и курсантов летчиков в летной школе почему-то сменили молоденькие матросы. И в длинных очередях за хлебом порядковые номера стали писать на ладонях химическим карандашом.

В эти дни родители заканчивали строительство нашего дома. Въехали мы в него года два тому назад. Он был недостроен, и все два года продолжалась стройка (отец многое делал сам). У родителей было бедное сиротское детство, им непросто пришлось в жизни, и последние годы они только и жили мечтой о своем доме.

Дом получился небольшим, но нарядным. Он стоял на цокольном кирпичном фундаменте, наружные его стены были покрыты свежим тесом. Его украшали красная черепичная крыша и яркие оконные ставни. Картину завершали резные деревянные ворота, которыми отец особенно гордился.

Стоя на стремянке, отец заканчивал красить ставни, когда с газетой в руках подошла мама и вслух прочитала ему указ о выселении немцев из Поволжской республики.

Дослушав маму, отец медленно спустился со стремянки. Таким потерянным я его не видел.

На другой день началась непонятная для меня суета.

Соседи выносили из дома отданные им посуду, мебель, какие-то вещи. Кто-то уводил со двора корову-симменталку Милку, кто-то, гремя цепью, тащил упирающегося Полкана, нашу большую белую собаку.

К вечеру к нам во двор пришел худой, усталый человек в полувоенной форме, переписал нас и сообщил время завтрашней погрузки в эшелон. Переписывал он нас почему-то со слов. От волнения у отца усилился акцент, и нашу фамилию этот человек записал неправильно (спустя годы я долго переписывался с Саратовским архивом МВД, который упорно отвечал, что нашу семью из города Энгельс никто не высылал).

Во время этого разговора из выходящего во двор окна выглянула дородная женщина, уже въехавшая в наш дом. С одесским говором она закричала:

— Вы же ж там запишите, что они не всю мебель нам оставляют!

Усталый человек молча посмотрел на нее и отвернулся.

На другой день мы грузились в эшелон, состоящий из пустых товарных вагонов. Народу было много, но погрузка проходила организованно, с немецкой деловитостью. В одном из таких “телячьих” вагонов расположились мы и еще несколько семей. Несмотря на запрет, родители взяли с собой сундук с одеждой. Отец взял еще цыганскую гитару в черном футляре, а мама, к большой моей радости, тайком взяла с собой нашу собачку-болонку Чарлика.

Погрузка в вагоны, наконец, закончилась, какие-то военные проверили нас по списку, и эшелон тронулся.

Началась наша долгая дорога в Сибирь.

Везли нас окружным путем, через Среднюю Азию. Первые дни мимо проходила сухая осенняя степь, потом появились участки песчаной пустыни. Через пару дней на горизонте показались голубые горы с белыми шапками, стала появляться зелень садов, поля с незнакомыми нам растениями.

Пропуская встречные поезда, эшелон часто останавливался на разъездах. На коротких остановках выходить из вагонов не разрешалось: за этим бдительно следила охрана, вагон которой был прицеплен к нашему эшелону. Но иногда эшелон останавливался надолго. Наш состав окружали солдаты, и все высыпали из вагонов. Люди разминались, собирались в кучки, спрашивали друг друга о новостях, но что происходило в стране и на фронте, никто не знал. Семьи собирались на земле кружком и, если попадалось топливо (сухие стебли перекасти-поля, старая доска, щепки), разводили костерки, что-нибудь варили.

Засидевшись в душных вагонах, дети затевали беготню, с любопытством разглядывали солдат с винтовками, темнолицых узбеков, бродивших в стороне ишаков и верблюдов.

К эшелону на продажу стали приносить яблоки, дыни, арбузы. На одном из разъездов отец купил полмешка яблок. Потом мы ими угощали сибирских ребятишек, выдавших яблоки только на картинках.

От долгой езды в товарных вагонах все устали. Стояла жара, постоянно возникали какие-то трудности с едой, с водой. У взрослых было, конечно, много проблем, о которых я могу теперь только догадываться. А для меня это было интересным приключением, самым ярким впечатлением от которого были высокие, с белыми вершинами горы да смуглые до черноты узбеки в цветастых халатах.

На каком-то разъезде мужчины нашего вагона принесли доски и смастерили нары. Мы с Чарликом почти не слезали с них, не докучая взрослым своей возней. В вагоне были еще дети, но неприятная история произошла почему-то только со мной.

Перед самым нашим отъездом соседский мальчишка подарил мне два полностью заряженных охотничьих патрона. Я по одному положил их в нагрудные карманы моей рубашки, карманы застегнул на пуговицы и так и ходил с патронами.

Папа обнаружил их только на второй день пути, когда на одной из стоянок помогал мне спуститься с вагона.

— Что это у тебя?! — спросил он.

Вынув патроны и ничего не сказав, он поспешно отошел с ними в сторону. Стараясь быть незамеченным, он закопал патроны в землю. Теперь я представляю, как он испугался: патроны были с капсулями и от

удара могли взорваться у меня в карманах. Да и время было военное, и, если бы их обнаружили, неизвестно, чем бы это для нас закончилось.

По Сибири дорога стала более скучной: эшелон двигался днем и ночью, долгих стоянок уже не было.

К концу второй недели наш эшелон стал укорачиваться: на некоторых разъездах и небольших станциях от него стали отцеплять по одному, по два вагона. Людей из вагонов развозили потом по ближним и дальним окрестным деревням.

Как-то утром мы обнаружили, что наш вагон стоит в тупике на какой-то станции, а эшелон ушел. Потом мы узнали, что находимся в Красноярском крае и наш вагон стоит на железнодорожной станции Боготол.

Люди высыпали из вагона, с беспокойством оглядывались: всех пугала неизвестность. Дети тоже притихли.

А я вспомнил тетрадку по чистописанию, которая так и осталась чистой.

“Уж здесь-то про нее никто не спросит”, — подумал я с облегчением.

2. В Сибири

Вскоре к нашему вагону, одиноко стоявшему в стороне от небольшого вокзала, подъехали подводы. Мы погрузились, и возницы-женщины направили наш обоз по дороге, ведущей в сторону от станции.

После долгой езды в “телячем” вагоне это путешествие показалось нам настоящим праздником. Сентябрьский день был ясным, солнечным, дорога проходила среди лугов и убранных полей, часто попадались перелески с нарядной осенней листвой. Это больше напоминало европейскую Россию, чем ту суровую Сибирь, о которой так много говорили и которую все боялись. Настроение у всех поднялось, люди оживленно переговаривались, громко смеялись. Жизнь и здесь может наладиться!

К концу дня мы добрались до деревни Аскарровка, за которой начиналась настоящая тайга. Это была большая сибирская деревня, обычная для здешних мест. Ее высокие бревенчатые избы вольготно раскинулись вдоль наезженного тракта.

О том, что везут каких-то “немцев”, в деревне уже знали, но особого интереса к нам не проявляли. Хозяйки изб, куда нас определяли, помогали устраиваться, ни о чем не спрашивая. Было видно, что новые люди здесь не в диковинку. Мы потом встречали здесь самых разных поселенцев: белоруссов в белых холщевых одеждах, пригнанных еще при раскулачивании, литовцев, привезенных недавно и выделявшихся

остатками своей ярко-клетчатой одежды. И неизвестно почему были в этой глуши какие-то старики евреи в широких черных балахонах.

Нас поселили в просторной избе-пятистенке, в которой жила хозяйка с сыном лет шестнадцати. Муж ее, как и у многих здесь, был на фронте.

Через темные сени нас провели в избу. В просторной комнате находилась широкая русская печь, в правом дальнем углу стоял большой некрашенный стол, над которым темнели иконы. Вдоль всех стен шли тоже некрашенные лавки, такие широкие, что на них можно было лежать.

Хозяйка провела нас в комнату поменьше, в “красную” комнату. В ней стояла деревянная кровать с периной и горой подушек. Был еще стол, покрытый белой вязаной скатертью, и несколько венских стульев. В комнату занесли наш сундук, который стал моей кроватью.

Приехавшие немцы стали работать в местном колхозе. Отец, с детства знавший и любивший лошадей, работал на конюшне, мама — на ферме.

А я стал учиться во втором классе местной начальной школы. К моему удовольствию здесь не очень-то следили за чистописанием. Тетрадей у нас не было, писали мы на разных листках.

Учеба мне давалась легче, чем местным мальчишкам. Зато они знали много чего, что мне было незнакомо. С гордостью они рассказывали, как ловили зайцев на проволочные петли, как с ружьем охотились на лис. Однажды на такой вот охоте погиб наш одноклассник (в стареньком ружье взорвался патрон). Смерть моего сверстника меня особенно потрясла.

Я сразу же включился в местную жизнь: играл с деревенскими мальчишками, участвовал в зимних праздниках с переодеванием в вывернутые шубы и катанием на санях с высокого речного берега, толкался среди более взрослой молодежи на вечерних посиделках, поочередно устраиваемых в деревенских избах.

К концу года ударили невиданные для нас сорокапятиградусные морозы. Над засыпанной снегом деревней стояли столбы белого дыма. Казалось, что она вымерзла от мороза: не было видно ничего живого, даже не слышно было собачьего лая. Только иногда раздавался пушечный треск лопавшихся от мороза стальных бревен, особенно громкий по ночам. Но жизнь деревни, конечно, не останавливалась, даже занятия в школе не прекращались. И на зерновом складе, на конюшне, на ферме велись работы.

Наша семья собиралась вместе только по вечерам, после работы. Иногда отец брал гитару, и они с мамой пели до поздней ночи.

Вот один из таких “музыкальных” вечеров.

Во дворе трескучий мороз, окна покрыты густым инеем. В натопленной комнате мы сидим у стола, на котором тускло светит “коптилка”. Я, как всегда, читаю книжку, родители беседуют о чем-то своем. Отец встает, снимает со стены черный футляр и осторожно вынимает из него темную с перламутром цыганскую гитару. Настроив ее, он берет аккорд и негромким высоким голосом начинает старинную немецкую песню, одну из тех, которые они пели дома, на Волге. Ему вторит мама, и вот эту грустную песню они поют уже вдвоем. Поют красиво, в два голоса, мягко звучит гитара.

Закончив песню, они начинают другую, такую же печальную. Послушать необычное для них пение в соседней комнате собираются женщины из ближайших изб. Они по-соседски рассаживаются по лавкам, некоторые подходят к открытой двери нашей комнаты. Кто-то вытирает слезы, кто-то вздыхает:

— Как в церкви поют!

За прошедшие десятилетия я успел эти песни забыть. Но одну из них я все-таки помню, правда, только мотив и только припев:

So lebe wohl, leb wohl, du, mein Tirol, Tirol!

(И так, прощай, прощай, ты, мой Тироль, Тироль).

Пели они и русские песни, такие же печальные, например, эту:

Сижу я в неволе в темнице сырой.

Вскормленный в неволе орел молодой,

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюет под окном.

Потом я узнал, что это романс на стихи Пушкина.

Сразу после Нового года всех немцев мужчин мобилизовали в трудармию. Отец рассказывал, что их отправили в Кировскую (теперь Вятскую) область на лесоразработки.

Обращались с ними так же, как и с заключенными, и содержались они в лагерях с колючей проволокой, вооруженной охраной, собаками и т. д. Еще он рассказывал, что от непосильной работы и плохого питания много трудармейцев погибло, и умерших складывали штабелями. В первую очередь погибали неприспособленные к такой работе учителя, врачи, артисты. В первый же месяц умер наш хороший знакомый, аптекарь дядя Карл. Он приходил к нам в гости вместе с женой и всегда со свеженакрашенными черными усами.

Мы с мамой остались вдвоем. В колхозе, где мама работала, оплаты не было, только начисляли трудодни (“палочки”).

Жители деревни как-то обходились: у них были прошлогодние запасы, да еще они приворовывали в колхозе. А у нас запасов не было, и кормились мы тем, что выменивали на вещи, которые привезли с собой. Иногда мы ели то, что мама выкраивала от корма для свиней.

Выменянное на вещи зерно мы мололи на мельнице, которая находилась в соседней деревне. Однажды, смолов на мельнице зерно, мы с мамой возвращались поздним вечером. Выпало много снега, и мы с трудом тянули санки с мукой. Заснеженная дорога была едва различима в лесной темноте. В тот вечер я очень испугался: мне казалось, что мы заблудились. И еще я боялся волков, о которых здесь рассказывали страшные истории. Уставшие (а я еще и перепуганный), домой мы добрались только глубокой ночью.

Чтобы помочь папе в трудармии, мама посылала ему посылки с деревенским табаком. Веники высушенного на чердаках табака она выменивала на что-нибудь у соседок. А я изготавливал табак. Сухие табачные стебли я крошил ручным резакom и смешивал их с растертыми в порошок табачными листьями.

Постепенно мы променяли на продукты все наши вещи. Только папину гитару мне было жалко: мама отдала ее за три фунта масла. Больше не давали: на ней никто не умел играть.

Время от времени мы совершали походы в баню.

Бревенчатая банька стояла в огороде, через три дома от нас. Мы пробирались к ней поздним вечером, когда хозяева баньки уже помылись. Черные от копоти потолок и стены баньки были еще теплыми, топка была еще горячей. Жестяным ковшиком мама плескала воду на раскаленные камни, а я, спасаясь от горячего пара, бросался на прохладный пол. Раздевались и одевались мы на морозе перед входом, а одежду складывали на тут же стоявшие старые сани. И, что удивительно, никаких простуд после этого не было.

Постепенно мы приладились к деревенской жизни. До обеда я был в школе, хозяйка с сыном Петькой весь день работали в колхозе, а мама была на ферме. Придя со школы, я приносил из колодца воду, готовил уроки, потом выходил на улицу гулять. Иногда Петька оставался дома, и мы с ним пилили и кололи дрова для нашей печи. Особенно трудно было пилить дрова: пила была слишком тяжелой.

По вечерам все собирались в большой комнате у жаркой буржуйки, которую недавно поставили для экономии дров.

Приходили на огонек соседки. Жарко горели дрова, на жестяной буржуйке, раскаленной почти до красна, мы с Петькой жарили пластики картошки. Женщины перемывали кому-то косточки, обсуждали

деревенские новости. И часто вспоминали довоенную жизнь, которая была такой далекой и казалась такой счастливой.

Прошла суровая зима, потом короткая весна.

Наступило лето 1942 года.

3. Свинопас

Госпоставки прошлого года, первого года войны, оставили колхоз совсем без зерна (на трудодень колхозники получили только 400 грамм овса) и без достаточных запасов кормов. И с приходом лета оказалось, что нечем кормить колхозных свиней. А их надо было сохранить, и не только сохранить, но и выкормить, как тогда говорили, “для фронта, для победы”. И в колхозе пришли к необычному решению — вывести свиней на свободный выпас, на открытое пастбище. По крайней мере, там будет подножный корм.

Маме, работавшей свиноводом, сказали, что пасти свиней придется ей и что на лето она должна будет поехать на хутор, где находились пастбища.

Отказаться мама не могла, но настояла на том, что одной ей не справиться, и попросила определить меня к ней помощником. Она не очень-то верила, что я смогу ей в чем-то помочь, просто она не хотела оставлять меня одного. Потом, правда, оказалось, что с таким беспокойным стадом без меня она действительно не смогла бы справиться.

В правлении понимали, что пасти свиней очень непросто, особенно в лесной местности, поэтому они приняли мамино предложение и на время выпаса согласились считать меня помощником свиноводки (а фактически — помощником свинопаса, подпаском). Мне было девять лет, и это мое назначение было, конечно, неофициальным. Проявилось оно в том, что за один рабочий день маме стали начислять полтора трудодня, из которых полтрудодня установили за мою работу.

В стадо, которое мы должны были пасти, собрали около тридцати свиней самых разных пород. Я и сейчас не очень-то в этом разбираюсь, да и тогда породу свиней определяли, как мне кажется, приблизительно. Двух больших курносых свиней и той же породы крупного борового с торчащими в сторону клыками все считали свиньями английской породы. К украинской относили небольших коренастых черно-белых хрюшек. Несколько поджарых длинномордых относили к русской породе. И никто не знал происхождения мелких круглых свинок с курчавой рыжей щетиной.

Ранним майским утром мы погнали наше стадо на хутор. Двигались по лесным дорогам, причем было жарко, свиньи уставали и норовили разбежаться. Приходилось догонять их, возвращать. С нашим “разнокалиберным” стадом до хутора мы добрались только к обеду.

Заброшенный хутор представлял собой деревянную избу, одиноко стоявшую на опушке леса. Рядом был огорожен загон, в который мы и направили наше стадо.

В одной из двух комнат уже поселился сторож Ганн — высокий, худой старик-белорус, одетый в белые полотняные штаны и рубаху. В другой расположились мы с мамой.

Наш рабочий день начинался ранним утром, с восходом солнца. Мы с трудом выгоняли из загона свиней и, не давая им разбежаться, гнали стадо к месту выпаса. Дойдя до поляны с росистой травой, мы пускали стадо пастись.

Но свиньи не держались стадом, они сбивались в отдельные группки, каждая из которых брела по своему хотению. Они вели себя так, как их отдаленные предки, которые жили отдельными группами, семьями (как теперешние дикие кабаны).

Удерживать стадо вместе было постоянной нашей заботой, особенно, когда рядом был лес или, что еще хуже, кустарниковые заросли, в которых свиньи могли легко затеряться. Этого мама особенно боялась: за пропавшую свинью могли дать десять лет тюрьмы. Она постоянно покрикивала на меня, посылая за разбредаящимися животными то в одну, то в другую сторону. Ее нервный крик нередко переходил в слезы, и тогда я совсем терялся, не зная, в какую сторону бежать.

Иногда недалеко от нас паслось стадо коров. Я с завистью смотрел на пастуха: коровы спокойно жевали траву и не разбредались, как наши хрюшки, а он дремал под каким-нибудь деревом или курил свою козью ножку.

Время от времени он вставал и, громко щелкая бичом, перегонял свое стадо на другое место.

Я тоже сплел себе бич из сыромятной кожи. Громкое щелканье у меня получалось, но бич помогал мне мало, особенно когда свиньи забирались в кустарник, откуда их можно выгнать было только прутом.

У супоросных свиней, ожидавших поросят, здесь на воле проснулся еще один древний инстинкт: они постоянно куда-то прятались и сооружали себе логово. Мы с трудом находили их и возвращали в стадо.

Однажды мама предупредила, что две свиньи русской породы скоро принесут поросят и надо смотреть, чтобы они не сбежали. Как мы ни следили, одна из них все-таки убежала. Мама долго ее искала и в конце концов пригнала, неся в корзине новорожденных поросят.

Вскоре исчезла и вторая супоросная свинья. Сами мы ее найти не смогли, но к нам на помощь пришли люди из деревни.

Редкой цепью мы стали прочесывать ближайший лес и кустарники. На берегу лесной речушки обнаружился проход в высоких травяных зарослях. Пожилой заведующий фермой и мы с мамой двинулись по проходу и скоро вышли к вытоптанной площадке, где увидели сбежавшую свинью. В центре площадки она соорудила что-то вроде гнезда из мягкой травы, в котором тесной кучкой спали маленькие детки. Я протянул было руку, чтобы переложить их в корзину, но свинья кинулась на меня и, пытаясь схватить за руку, сбила с ног. Только сильный удар кнута заведующего отогнал от меня разъяренную мамашу. Когда мы потом возвращались на хутор, она с громким хрюканьем бежала за корзиной с поросятами, которую нес заведующий.

Постепенно мы приспособились к повадкам нашего стада. Когда были жаркие дни, мы подгоняли свиней к какому-нибудь лесному болотцу. С громким хрюканьем они забирались в грязь, рылись в ней и подолгу там валялись. В такие часы мы могли передохнуть, не заботясь, что стадо разбредется. Теперь мы уже знали характер каждой свиньи, некоторым дали клички. Большого английского борова мы звали Васькой, бросившуюся на меня поджарую свинью — Рысью.

С появлением в стаде поросят хлопот у нас прибавилось. Малыши старались держаться возле матки, но, несмотря на это, постоянно терялись. Приходилось их пересчитывать и недостающих искать в траве или в ближайших зарослях.

Со своим стадом мы были заняты, как говорится, от зари до зари, без перерывов и без выходных. Работа была беспокойной, но мне все равно было скучно, и я старался найти себе какое-нибудь развлечение. Когда удавалось, я собирал землянику (единственно знакомую мне тогда ягоду), по вкусу напоминавшую довоенную карамель, ловил и разглядывал нарядных бабочек, разных жуков, с интересом наблюдал за жизнью трудолюбивых муравьев. Встречались мне и звери — белки, зайцы, лисы, но особенно нравился небольшой полосатый зверек — бурундук, который мог встать столбиком и спокойно меня разглядывать. Иногда я катался на борове Ваське. Лежа на его спине, я прутиком подстегивал его по выступающей сзади части, и он двигался вперед. Когда я почесывал ему брюхо, он, провесив его, останавливался. Однажды я решил узнать, умеют ли новорожденные поросята плавать. Для этого я загнал свинью, у которой были суточные поросята, в небольшую речку. Свинья быстро, рассекая воду, поплыла к другому берегу. Оставшиеся на берегу поросята сначала потоптались возле воды, потом один за другим попрыгали в воду и так же быстро поплыли за свиньей.

Здесь в лесу я со многим встречался впервые. Но я набирался опыта, и в этом мне помогал сторож Ганн. Он много знал, многое умел и постоянно что-то мастерил, плел ивовые корзинки, делал туески из бересты. Для себя он плел лапти, но не из липового лыка (липа в тех краях не растет), а из очищенной ивовой коры.

Летней обуви у меня не было, и, как все деревенские дети, я бегал босиком. Мои ноги были постоянно сбиты, но я не обращал внимания. Но

пошли сенокосы, и на скошенных лугах я часто ранил ноги острыми концами наискось срезанной толстой травы. Иногда они впивались в прежние ранки, и от дикой боли я кричал, катаясь по земле. Мама попросила Ганна сплести лапти и для меня. Лапти получились легкими и удобными, в них я мог бегать где угодно, не опасаясь пораниться.

И вот еще: с нами жил Чарлик — белый, пушистый песик-болонка, которого мы привезли из Энгельса. Был он комнатным, изнеженным, и мы его не брали на пастбище. Днем он находился на хуторе, а вечерами встречал наше стадо звонким лаем. Сторож недолюбливал его, считая такую собаку никчемной, бесполезной.

Однажды вечером мы, как обычно, пригнали стадо, но Чарлик почему-то нас не встречал. Мы загнали свиней в загон, где они накиннулись на молочную сыворотку, привезенную для них днем. Я побежал к Ганну:

— Дядя Ганн, а где Чарлик?

Он нехотя проворчал:

— Да здесь где-то, скоро прибежит.

Чарлик в тот вечер не прибежал, не появился он и на следующее утро. Вечером я отправился его искать. Я ходил по соседнему лесу, громко звал, высматривал в зарослях, но все было напрасно. Уже возвращаясь, я заметил в кустах что-то белое. Подойдя поближе, я увидел, что на толстой ветке висит какой-то белый пушистый столбик, и я сразу подумал, что это Чарлик. Я не стал его разглядывать и со слезами бросился на хутор, крича:

— Мама, там Чарлик висит!

Мама стала успокаивать, говорить, что мне показалось. Позднее она повела меня на то место, и там, действительно, ничего не было. Но я ей все равно не поверил и подумал, что сделать такое с Чарликом мог только наш сторож. После этого случая я стал его сторониться, даже побаиваться. Много позже, уже зимой, мама рассказала, что Чарлик заболел бешенством, и, чтобы он никого не покусал, она попросила Ганна отвести его в лес...

В конце августа нам пришлось перебраться в деревню: для ночевавших в загоне свиней ночи стали холодными. Теперь мы их пасли недалеко от деревни — сначала на полянах, а позднее — на убранных колхозных огородах, где свиньи всегда находили остатки урожая. Но пасти их стало труднее: было много соблазнов в виде деревенских огородов.

Первого сентября 1942 года я, как все дети, отправился в школу, в третий класс. Но проучился я только один день. В этот день мама не справилась со стадом, часть свиней разбежалась. Они забрались в деревенские огороды и понаделали там бед, были скандалы. Так что нечего было думать об учебе, и уже на следующий день я вернулся к нашему стаду.

Моя работа свинопасом закончилась поздней осенью, когда заморозки стали сильными и свиней перевели на зимнее содержание.

Мы с мамой поселились на колхозной ферме, где, кроме свиней, держали еще овец и крупный скот. Жили мы в избушке над погребом для колхозного картофеля. Я помогал маме на ферме, но за мою работу ей уже не доплачивали.

Постоянно обитая на колхозной ферме, я насмотрелся всякого и далеко не детского. Но были и трагикомичные случаи, одним из которых — история с сороками.

Ночью наши свиньи находились в теплом свинарнике, а днем их выгоняли в открытый загон (видимо, для закаливания). На открытом воздухе, несмотря на крепкие морозы, они чувствовали себя совсем даже неплохо. Но для толстых англичанок настоящей бедой оказались обыкновенные черно-белые сороки. Хитрые птицы садились на их широкие спины, проклевывали шкуру и лакомились свежайшим салом. Свиньи беспокойно бегали по загону, визжали, но сороки продолжали свою трапезу. У свиней образовались обширные раны, они стали худеть. Надо было что-то делать.

Заведующий фермой принес дробовик, настрелял шесть-семь сорок и их тушки развесил на шестах вдоль всего загона. Только после этого истязание свиней прекратилось.

За зимние месяцы прежнее наше стадо сильно изменилось. Многих свиней забили, среди них и толстого добряка Ваську. Подросли молодые свинки. В теплом свинарнике полуодичавшие на воле свиньи стали забывать свои древние инстинкты и снова превратились в обыкновенных домашних животных.

4. Маму увезли. Тетя Шура

Мобилизацию в трудармию проводили почему-то всегда в начале года. После Нового 43-го года тоже объявили мобилизацию. На этот раз забирали женщин-немок, не имевших детей, и девушек с 15-16 лет. Уже потом мы узнали, что в эту мобилизацию попала мамина младшая сестра, которая находилась где-то здесь в Сибири. Ее увезли в Заполярье, в Туруханск.

Все думали, что отправка в трудармию на этом закончится. Но через месяц объявили еще одну мобилизацию. На этот раз забирали женщин, дети которых были старше трех лет. Но куда девать этих детей “старше трех лет”, остающихся без матерей, в приказе о мобилизации ничего не говорилось. Некоторые из матерей могли оставить детей у родственников, а когда родственников поблизости не было, приходилось отдавать их в чужие семьи или просто оставлять там, где проживали.

Отказаться от мобилизации из-за детей женщины не могли: это объявлялось дезертирством.

Маме тоже принесли повестку. Родных у нас здесь не было, а куда-нибудь меня пристроить мама не успела: всех мобилизованных вскорости отправили в район. И ей пришлось оставить меня на ферме в избушке, в которой мы жили.

Маму увезли, но что она уехала насовсем, мне не верилось. Я уже оставался один, — когда мама отвозила на станцию зерно, — но она всегда возвращалась. Мне и теперь казалось, что она вернется.

После ее отъезда я послонялся по деревне, покатался с ребятами с горки и к вечеру вернулся в избушку. Растопил печку, разогрел ужин, который оставила мне мама, поел и лег спать. Но сна не было — только теперь, в темной избушке, я вдруг почувствовал, что остался один. И что дальше делать, я не знал.

Дверь избушки вдруг открылась, и вместе с клубами мороза вошла мама. Я бросился к ней:

— Ура! Ты вернулась!

— Я не насовсем, я скоро опять уеду.

Утром сбежались женщины, работавшие на ферме. И мама рассказала, что произошло в Тюхтете.

Когда их привезли в Тюхтет, у здания военкомата уже стояла толпа мобилизованных женщин, собранных со всего района. Некоторые, несмотря на запрет, привезли с собой малышей. Стоял крик и плач, слышны были окрики охраны.

Женщины с детьми умоляли разрешить им взять их с собой, обещая кормить из своего пайка. Охранники с руганью оттаскивали детей от матерей, но куда их девать, особенно совсем маленьких, они не знали. Дети вырывались и с ревом возвращались к матерям. Наконец, ничего не добившись, начальник военкомата отправил женщин по домам, пообещав собрать их позднее.

Через неделю женщин снова вызвали в район, но теперь только тех, у кого дети были старше семи лет.

На этот раз у мамы было больше времени на то, чтобы куда-нибудь меня пристроить. Помогало ей и то, что у меня было хорошее “приданое” — три мешка пшеницы, которые мы получили на трудовни. Время было голодное, и без такого “приданого” кому бы я — лишний едок — был нужен. Мама металась по деревне, и в конце концов ей удалось договориться с одной из местных, — та согласилась взять меня к себе.

В день отъезда мама привела меня в избу, где мне предстояло жить (мешки с зерном привезли еще раньше). Хозяйку избы звали тетя Надя, у нее были две дочери моего, примерно, возраста.

Мама познакомила меня с тетей Надей, передала ей мои документы и стала прощаться. Мы вышли ее провожать. Обняв и поцеловав меня, мама с плачем пошла к саням, ожидавшим ее вдалеке. До сих пор стоит перед глазами: морозный солнечный день, долго-долго уходит от меня плачущая мама, и ее голубое пальто ярко выделяется на ослепительно белом снегу.

Маму отправили на лесоповал в Бурят-Монголию (теперь это Бурятия), куда-то недалеко от китайской границы.

Тетя Надя показала мне мой угол, куда я поставил свой сундучок, показала лавку, где я буду спать. В избе было чисто, тепло, но все это было чужим. В отведенном для меня углу я так и просидел до позднего вечера.

На другой день тете Наде дали колхозную лошадь, чтобы привезти сена для коровы. В поездку за сеном она взяла меня и одну из дочерей. Дорога шла по засыпанным снегом полям, сверкавшим на солнце, по лесу с покрытыми инеем деревьями. Мы загрузили сани пахучим сеном, и низкорослая лошадка повезла нас домой. С высоты возка мы видели ярко-рыжую лису, пробегавшую по пушистому снегу. Поездка мне понравилась, я повеселел. Но вечером опять стало тоскливо.

На третий день к нашей избе подъехали красивые сани с запряженной в них статной лошастью. В санях сидели мужчина и женщина. Высокая, по-городскому одетая женщина прошла в избу, поздоровалась со всеми и спросила меня:

— Ты Роберт?

Я ответил:

— Я.

Она сказала:

— Меня зовут тетя Шура. В Тюхтете я встретила твою маму и пообещала ей взять тебя к себе. Поедешь со мной в Тюхтет?

Я вспомнил, как в деревне говорили, что в Тюхтете живет хорошо: по каким-то там “карточкам” хлеб там дают всем, работаешь — не работаешь. И я сказал:

— Поеду.

Женщина еще поговорила с тетей Надей. Мужчина погрузил в сани мешки с пшеницей, и мы поехали в Тюхтет.

Когда мы приехали к тете Шура, дома у нее оказался шестимесячный сын Женя. Пока она ездила за мной, за ним присматривала тетя Паша, хозяйка избы, где тетя Шура занимала комнату. В этой комнате мы и стали жить втроем.

По утрам тетя Шура уходила в промкомбинат, где работала в бухгалтерии, и мы с Женей оставались одни. Я смотрел за ним, варил ему кашу, кормил, укладывал спать, менял пеленки, гулял с ним во дворе. Иногда тетя Шура прибегала узнать, как мы тут. Вечером, когда у меня не было поручений, она отпускала меня на улицу поиграть с соседскими ребятами. Часто я на улицу не шел, а оставался дома, чтобы заняться любимым занятием — чтением. Брать книги в школьной библиотеке я не мог, так как в школу не ходил, приходилось выпрашивать их у соседей, у знакомых тети Шуры, у ее коллег по работе. В этих поисках мне попадались самые разные книги. У соседской старушки я нашел старинную книгу в темно-коричневом переплете с дореволюционной орфографией. Толстая эта книга была сборником анекдотов. Анекдоты были довольно нудные, вроде этого:

“При обходе госпиталя генерал обратился к солдату, лежавшему на койке:

— Как фамилия?

Перепуганный солдат, не разобрав вопроса, ответил:

— Понос, Ваше превосходительство!

— О, греческая фамилия! — удивился генерал”.

Остальные анекдоты были в таком же духе.

Когда книг не было, я читал все, что попадалось на глаза — газеты, старые журналы, какие-то брошюры, инструкции для молодых охотников и т. п.

Запойное мое чтение сердило тетю Шуру: и с керосином трудно (по вечерам я читал при коптилке), и глаза порчу. А тетя Паша все повторяла: у них в деревне один вот читал, читал, да и тронулся.

Но я продолжал читать при первой возможности.

Почти всю небольшую зарплату тетя Шура тратила на продукты для маленького Жени, которые покупала на базаре. Мы с ней питались в основном картошкой и еще привезенной вместе со мной пшеницей. Пшеницу мололи на мельнице, и из муки варили кулеш. Иногда смолоть не успевали и кашу варили из цельной пшеницы, после чего я корчился от боли в животе.

Выручало нас молоко, которое тетя Шура покупала по дешевке у соседей, да черный, тяжелый хлеб, который, хоть и понемногу, выдавали по хлебным карточкам.

С моей мамой тетя Шура была знакома еще по Саратову, но последние несколько лет они друг о друге ничего не знали. Здесь, в Сибири, они виделись всего два раза, и каждая их встреча была не совсем обычной.

Тетя Шура была русской. В Саратове она вышла замуж за немца, но сохранила свою девичью фамилию — Яковлева Александра Семеновна. В 41-м году ее, как жену немца, выслали вместе с мужем в Тюхтет. Мужа взяли в трудармию, и, решив, что с русской фамилией ее в Сибири ничего не держит, она вернулась в Саратов. Там быстро установили, кто она такая и откуда она приехала. От ареста ее спасло только то, что она на последних месяцах ждала ребенка. Ей сказали, что если она не вернется в Тюхтет, ее посадят. С большими трудностями она добралась до станции Боготол. До Тюхтета было еще сорок километров, но регулярного транспорта туда не было. И она застряла на станции без еды и без денег.

В это время на станцию пришел санный обоз с зерном из нашей Аскарówki. Сдав на элеваторе зерно, сопровождавшие обоз женщины, среди которых была и моя мама, решили сходить на вокзал. И мама увидела там тетю Шуру.

Грязная, уставшая, с большим животом, она ходила по перрону и просила милостыню. Плача, они обнялись. Выслушав ее историю, мама отвела ее к своим саням, чем могла покормила. Потом закутала ее в тулуп и так довезла до Тюхтета, через который проезжал обоз.

А следующей зимой, случайно проходя мимо военкомата, тетя Шура увидела маму в толпе мобилизованных женщин. Плача, та ей рассказала, что оставила сынишку в деревне у чужих людей. Еще сказала, что с ним оставила три мешка пшеницы. И тетя Шура пообещала, что возьмет меня к себе.

Две эти встречи во многом определили мою судьбу.

Еще неизвестно, как бы она сложилась, если бы я остался в деревне, из которой я, как спецпереселенец, не имел права выехать. Так бы и остался безграмотным, какими оказались многие мои сверстники, высланные на окраины Сибири и Средней Азии.

Иногда я приходил с Женей на руках на промкомбинат, где работала тетя Шура. В одном из цехов я с интересом смотрел, как из коровьих рогов делали гребешки. Женщины распиливали рога на короткие отрезки — получались широкие трубки. Трубки разрезали вдоль, разворачивали под горячим паром и под грузом распрямляли. Полученную роговую пластину обтачивали и круглыми пилками на специальном станочке выпиливали в ней частые прорезы — получались гребешки. Была там сапожная мастерская, где из сыромятной кожи делали ботинки на

деревянной подошве, была пимокатная, в которой из овечьей шерсти валяли валенки (по-сибирски, — катали пимы).

Иногда тетя Шура брала у меня Женю и, отдав свой талон, отправляла в служебную столовую. Там мне давали зеленый от черемши суп с говяжьей требухой, который казался мне необыкновенно вкусным.

У тети Шуры я прожил до осени 43-го. Закончилась привезенная со мной пшеница, и совсем плохо было с моей одеждой. Из старой, еще привезенной из Энгельса, я окончательно вырос, да она уже порядочно обтрепалась. Другую одежду достать было негде. А тут еще я стал проситься в школу, где уже начались занятия. И тетя Шура решила отдать меня в детский дом, который только что организовали в Тюхтете.

5. Школа глухонемых

Районный центр Тюхтет был небольшим сибирским городком, больше похожим на широко раскинувшееся село. Застроен он был деревянными домами и обычными избами, и только в центре находилось несколько кирпичных строений — здание администрации, городская школа и школа-интернат для глухонемых детей (ее здесь называли “школой глухонемых”). Размещалась “школа глухонемых” в мрачном одноэтажном здании, окруженном глухим деревянным забором. Городские мальчишки стороной обходили эту “школу”, так как глухонемые, если их хоть как-нибудь задевали, остервенело кидались на обидчика, так что с ними лучше было не связываться.

К осени 1943 года в районе скопилось много неустроенных детей, в том числе детей, чьи матери были мобилизованы в трудармию. И чтобы пристроить хотя бы часть этих детей, власти решили на базе школы глухонемых создать детский дом. Глухонемых детей куда-то увезли, а здание и весь персонал передали вновь организованному детскому дому.

В начале октября тетя Шура привела меня в детский дом. Директор его, строгая пожилая женщина, просмотрела мои документы, о чем-то спросила тетю Шуру, несколько вопросов задала и мне. Пришла воспитательница, отвела меня в спальню и показала мою койку. С этого началась моя детдомовская жизнь.

Еще по дороге сюда я думал, что главное — я смогу там учиться. Меня не очень-то волновало, как я буду там жить, какие там будут условия. Но довольно быстро эти условия дали о себе знать.

Прежде всего, мы были всегда голодными. Несмотря на трудное военное время, продуктами детский дом обеспечивали. Но добрую их часть, судя по всему, разворовывали, так как положенные нам порции, и так довольно скромные, доходили до нас сильно урезанными. Однажды нам на ужин дали макароны, приправленные маслом. Это было необычайно

вкусно, но на мою тарелку положили три коротенькие макаронинки. Острое чувство голода после такой еды я помню до сих пор.

Зимой в здании было холодно, особенно в сильные морозы: не хватало дров, хотя вокруг стояли леса. По ночам приходилось спать в верхней одежде. Я приспособился и, одевшись в пальто, спал на животе, поджав под себя колени и с головой укрывшись суконным одеялом, под которым можно было надышать тепло.

Но самое трудное — в детдоме была тяжелая обстановка, которую принесли с собой воспитатели из бывшей школы глухонемых, привыкшие работать с дефективными детьми. Видимо, мы очень отличались от глухонемых, потому что всегда взвинченные и издерганные воспитатели никак не могли справиться с собранной ребятней. В детдоме постоянно что-то случалось: кто-то из мальчишек схулиганил или подрался, кто-то ушел без разрешения в город, часто пропадали ложки, полотенца, простыни (это продавалось на соседнем базаре). Устраивались допросы, обыски в спальнях.

Особенно мы боялись молодого, чахоточного вида воспитателя. Он по одному вызывал нас в кабинет и там допрашивал, поигрывая резиновой трубкой. Ребята рассказывали, что некоторых из них он больно хлестал этой трубкой.

За чью-нибудь провинность не всегда наказывали только виновного, были и коллективные наказания. Особенно часто наказывали нашу мальчишескую группу: мы часами выстаивали в строю или нас днями не выпускали на прогулку.

Каждый вечер нас выстраивали на линейку, на которой проводилась обязательная переключка и почти всегда устраивались громкие разносы. Во время таких разносов воспитатели могли вдруг замолчать и перейти на язык глухонемых. Они жестикулировали, что-то энергично обсуждая. Посоветовавшись в мертвой тишине, они сообщали свое решение:

— Иванов, выйди из строя! Из-за твоего поведения ваша группа не идет завтра на прогулку!

Или еще что-нибудь в этом роде.

Все это гнетуще действовало на ребят. Несколько раз из детдома сбегали, но до станции, куда стремились сбежавшие, было, как я уже говорил, сорок километров, и устроенная погоня каждый раз настигала беглецов.

Потом мне пришлось побывать в железнодорожном детприемнике и в другом детском доме, но время, которое я провел в этой “школе глухонемых” (как продолжали называть наш детский дом), было для меня самым трудным.

Местом, где можно было хоть на время вырваться из всего этого, была городская школа. Учились мы вместе с городскими детьми, учителя там

были обычные, поэтому в школе я себя чувствовал почти как дома. Учился я с большим желанием, да и учеба давалась мне легко. Домашние задания мы готовили все вместе, и я, ученик третьего класса, часто решал задачи пятиклассникам.

Еще одним способом уйти от действительности было чтение книг, которые я брал в школьной библиотеке. Я погружался в совсем другой мир, в мир приключений, в мир прекрасных и смелых людей.

Весной 1944 года тетя Шура получила вызов от своего мужа, Христьяна Хорста (без таких вызовов нельзя было ездить по железной дороге). А ехать к нему надо было далеко, на Северный Урал. Отправляться одной, с ребенком на руках, тетя Шура не решилась. Она пришла в детский дом и предложила мне поехать с ней. Я, конечно же, согласился: появилась возможность сбежать из этой “школы глухонемых”.

6. Северный Урал

Дорога на Северный Урал была действительно непростой. Пассажирские поезда шли долго, с частыми остановками, а в Новосибирске и в Свердловске надо было делать пересадки. На пересадках я обычно сидел с вещами и с маленьким Женей, а тетя Шура бегала по билетным кассам, оформляла какие-то документы и узнавала, где можно получить питание по дорожным карточкам. Их можно было отоваривать только на пересадках, и за время езды суточные талоны этих карточек у нас скапливались.

В Новосибирске мы талоны отоварили в железнодорожной столовой, расположенной в стороне от вокзала. Мы ожидали получить какие-нибудь продукты, а вместо них нам выдали целое ведро кукурузной каши и полведра соленой горбуши.

По дороге в столовую меня поразила магазинная витрина, уставленная головками сыра, “колясками” колбасы, кусками ветчины, — она так напоминала довоенное время. Только приглядевшись, я понял, что все это не настоящее, а искусно выполненные муляжи.

Много хлопот нам доставляла санитарная обработка, без которой не пускали на поезда. Приходилось идти в специальный санпропускник (привокзальную баню). Каждый снимал там одежду, через рукава и штанины надевал ее на большое кольцо из толстой проволоки, сцеплял кольцо и сдавал его в “прожарку”, где одежда обрабатывалась раскаленным воздухом для уничтожения возможных насекомых. После бани каждый получал кольцо со своей одеждой, которая была еще горячей, пахнувшей горелым. А некоторые пуговицы оказывались расплавленными.

В конце мая 44-го мы прибыли в город Краснотуринск. На маленьком вокзальчике нас встретил невысокий плечистый мужчина с крепкой лысой головой и крупным носом. Это был дядя Христьян — муж тети Шуры. После объятий и приветствий он погрузил наши вещи на телегу,

помог взобраться нам. Сев рядом, он подобрал вожжи, и лошадь тронулась. Ехали мы долго, через весь город. Остановились мы у одноэтажного деревянного барака, в котором нам предстояло жить.

Старинный поселок Турьинские рудники только недавно был переименован в город Краснотуринск. Недалеко от старой части города рос Новый город и сооружался Богословский алюминиевый завод (сокращенно БАЗ). Уже стояли первые кварталы Нового города, работала электростанция и действовал глиноземный цех. Рабочие его были приметны: их лицо и одежду покрывала красная пыль глинозема, из которого получают алюминий.

Вокруг Краснотурина располагалось несколько лагерей ГУЛАГа. В одних — с колючей проволокой — отбывали “сроки” заключенные, в других лагерях (с такой же колючей проволокой) находились немцы-трудармейцы, у которых вообще не было “сроков”. И заключенные, и трудармейцы были рабочей силой “БАЗстроя”, строительной организации НКВД, возводившей промышленные объекты и жилые дома.

Дядя Христьян находился в одном таких из лагерей. В 44-м году трудармейцам, имевшим дефицитные специальности, стали делать некоторые поблажки. Дядя Христьян был таким специалистом (он работал вагранщиком в литейном цехе), и его расконвоировали: разрешили жить за пределами лагеря и позволили вызвать к себе семью. Но он был обязан приходить каждый день в “свой” лагерь, чтобы отметить и получить дневную пайку хлеба.

Барак, в котором мы поселились, был рабочим общежитием, и вскорости тетя Шура стала здесь работать комендантом.

Теперь я меньше занимался с маленьким Женей: он подросток, и у тети Шуры было больше времени за ним присматривать. Главной моей обязанностью было доставать дрова для нашей плиты и корм для козы, которую завели для Жени. С дровами было проще: кругом были стройки, и я притаскивал оттуда доски и разные обрезки и рубил их на дрова. Сложнее было с кормом для козы. Летом я пас ее по канавам и обочинам дорог и иногда рвал для нее траву, а зимой подбирал остатки сена на грузовых платформах на соседней станции или там же надергивал сено из сложенных в штабели сенных тюков. Мне так часто выговаривали за нехватку корма, что однажды я решился и унес со станции целый тюк сена. Я не знаю, сколько весит такой тюк, возможно, это были какие-то мелкие тюки, но факт остается фактом: я, одиннадцатилетний мальчишка, взвалив на спину, приволок тюк домой. Объяснить это можно еще и тем, что меня подстегивал страх: я боялся, что появится стрелок с винтовкой, только что завернувший за угол.

И еще одна обязанность была у меня: я продавал на базаре котелки и кастрюли, которые дядя Христьян делал тайком на работе. Вместе с литейщиком он отливал эту посуду из остатков дюралюминия в вагранке, а отливки обтачивал им знакомый токарь. Из дюралевого листа вырезались крышки, которые выбивались вручную. Потом я начищал их

наждачной бумагой. Посуда получалась отличной. Блестящая, с толстой стенкой, она была лучше заводской, которой, кстати сказать, и в продаже-то не было.

Я ходил по базару с кастрюлями и котелками на руках. Покупали хорошо. Однажды небольшой котелок купил у меня важный лилипут из гастролирующего театра, — для меня это было событием!

И была проблема с одеждой: она сильно обтрепалась, и к тому же я из нее быстро выросал. Но все это как-то образовалось — дядя Хорст принес откуда-то солдатские штаны, а с наступлением холодов — серую ватную телогрейку (такую носили заключенные). Но сложнее было с обувью. Мне сказали, ордера на обувь дают в управлении алюминиевого завода. Я запасся справкой, в которой стояло, что мои родители находятся в трудармии, и отправился в управление завода.

Когда через годы я прочитал у Маяковского: “Я тыкал мандат, прикрывая “Известия” и упирая на то что “ВЦИК””, — я вспомнил свои хождения с этой справкой. Я тоже “тыкал” справку, прикрывая “труд” и упирая на то, что “армия”. И ордер мне дали, и заветные ботинки я получил.

В Краснотуринске я впервые познакомился с буднями “лагерного города”. Мимо нашего барака ежедневно проезжали на стройки колонны открытых грузовиков, в кузове которых сидели на полу заключенные (или трудармейцы, — отличить их было трудно), а за деревянным щитком у кабины стояли солдаты с винтовками. Иногда проходила пешая колонна заключенных, окруженная вооруженной охраной с собаками. И приходилось видеть, как на помойках роются “доходяги” — опухшие лагерники-дистрофики, среди которых были и заключенные, и трудармейцы. За территорию лагеря их выпускали, так как работать они не могли, а где их застанет смерть, охране было все равно.

Обычным явлением для города были заборы с колючей проволокой и вышками по углам. Окружали они не только лагеря, но и строительные площадки, где работали заключенные и трудармейцы. За таким забором я побывал в трудармейском лагере, в котором отмечался дядя Христьян: несколько раз он брал меня с собой. А через проходную меня пропускала хорошо его знавшая охрана.

Когда я пришел туда впервые, было дневное время, и лагерь был пустым. Меня поразили царившие в нем чистота и порядок. По обе стороны главной дорожки ровными рядами стояли аккуратно побеленные бараки. Побелены были и молодые деревца перед бараками, и низкие оградки вокруг пустых весенних клумб. Все дорожки были чисто подметены, скамейки тоже были покрашены в белое. Это напоминало порядок больницы или какого-то необычного кладбища.

Еще меня удивило, что пайка, которую получил дядя Христьян, была с довеском, пришипленным к булке деревянным колышком, а в хлебораздаче, где мы получали хлеб, заготовленные пайки (с колышками и без них) лежали навалом на полу.

О том, что существуют какие-то “лагеря”, в которых люди “сидят”, я впервые услышал еще в Тюхтете. К тете Шуре приходил “на чаек” бледный, аккуратно одетый в старенькую одежду мужчина. Женщины говорили, что он недавно вышел из какого-то “лагеря” и в Тюхтете находится в ссылке. Еще говорили, что он сидел по какой-то “58-й статье”. Я осмелился и спросил, за что он сидел. Он ответил:

— Ни за что.

Я ему, конечно, не поверил...

Я не переставал мечтать о школе. Первого сентября 1944 года в школах начались занятия. Я упросил тетю Шуру и пошел в школу, в четвертый класс. Недели через две дядя Христьян потребовал, чтобы я бросил учебу, так как он “не собирается кормить дармоеда”. И для меня все пошло опять по кругу: Женья, дрова, коза, сено, котелки и кастрюли.

Так прошла зима. Весной 1945 года я наконец взбунтовался и сказал, что хочу учиться и уйду в детский дом. Наш барак собирались сносить, и тете Шуре давали квартиру с удобствами и место в детском саду для Жени. Возможно, поэтому мне не очень-то и возражали: без меня могли уже обойтись.

Я взял свои документы и отправился в ГОРОНО (городской отдел народного образования) проситься в детский дом. Работавшие там женщины сказали, что помочь не могут: в городе нет детского дома. Я сказал, что никуда не уйду и, если надо, буду здесь ночевать. Я устроился на деревянном крыльце здания ГОРОНО и просидел там целый день (со мной была интересная книга — сборник рассказов Павла Бажова “Малахитовая шкатулка”).

Вечером, видя мое упорство, мне сказали, что завтра куда-нибудь определят, а сейчас я должен идти домой.

На другой день одна из этих женщин повезла меня в интернат, который находился в городе Карпинск (недалеко от Краснотуринска). Но интернат был переполнен, и меня не приняли. Пришлось опять вернуться домой. На третий день мне дали направление в детский приемник, купили билет и посадили в поезд, идущий до Серова.

* * *

Много лет спустя (в 1958 году) я был на Северном Урале в командировке. Жил я тогда в Караганде, работал в должности горного инженера-проектировщика, учился в вечернем институте, имел семью. Вместе со мной был молодой инженер-железнодорожник Анатолий Алексеев. Стояли морозы, и на нем был грубый, черный, с лохматым воротником полушубок, подаренный ему каким-то деревенским родственником. В

этом полушубке рослый, темнолицый и бровастый Алексеев был похож на опереточного разбойника.

Мы с ним проехали несколько городов, были в Свердловске, в Нижнем Тагиле. В Карпинске я рассказал ему про тетю Шуру. И мы решили найти ее. На рейсовом автобусе отправились в соседний Краснотуринск. С большим трудом, через отдел кадров алюминиевого завода, мы все-таки отыскивали тетю Шуру.

Жила она в однокомнатной квартирке в центре Нового города. Мы застали ее вместе с Женей, которому уже исполнилось 16 лет. Похудевшая и постаревшая тетя Шура, как мне показалось, не столько обрадовалась, сколько удивилась моему приходу. Она рассказала, что вскоре после моего ухода дядя Христьян бросил ее и ушел к молодой. Она сошлась с каким-то узбеком, который увез их в Среднюю Азию. Она не смогла вынести тамошний климат, ребенок, который там родился, умер, и ее еле спасли. Вместе с Женей она вернулась в Краснотуринск. Устроилась она мотористкой в хорошо оплачиваемый, но вредный для здоровья глиноземный цех. Ей дали квартиру, где они живут до сих пор.

Женя оказался незнакомым для меня подростком, что-то отрывисто бросавший матери и почему-то сквозь зубы разговаривавший с нами. С трудом в нем угадывался тот симпатичный мальчик, которого я когда-то нянчил.

Я рассказал ей о себе, но тетя Шура слушала меня с недоверием. В разговоре она несколько раз повторяла, что все эти годы думала, что я пошел в уголовники. При этом она опасливо поглядывала на мрачноватого Алексеева.

Уже провожая нас, она сказала, что и сейчас не верит, что я не уголовник. Переубедить ее мы так не смогли...

7. Детский приемник

До Серова я ехал несколько часов. Вагон был переполнен, приходилось стоять, и рядом со мной стоял пацан, ехавший куда-то в сторону Нижнего Тагила. Мы разговорились, но началась проверка документов, и пацана задержали: он предъявил какую-то справку с протертыми до дыр углами и со свежей датой.

— Дата подделана, — сказал солдат-стрелок и передал мальчишку другому стрелку. Потом он просмотрел мои бумаги и вдруг сказал:

— Ты из Тюхтета? Я тоже оттуда. Где ты там жил? Это недалеко от наших, ты должен знать моего Вовку!

Сына его я не вспомнил, но не решился в этом признаться и как мог отвечал на его вопросы, что-то рассказывал про Тюхтет, в котором он,

видно, давно не был. Довольный, что я напомнил ему родные места, он похлопал меня по плечу и пошел по вагону дальше.

Наконец наш поезд прибыл в Серов. У меня было пятнадцать рублей, которые дала мне тетя Шура. Рядом с вокзалом находился кинотеатр, и я решил сначала сходить в кино. Там я впервые посмотрел американский фильм — цветной боевик с голубым океаном, зелеными пальмами и тайфуном (кажется, фильм назывался “Ураган”). На привокзальном базарчике я купил шаньгу и чекушку молока. Шаньгу я съел тут же возле прилавка, запил ее молоком и, вернув пустую чекушку, отправился искать детприемник.

Нашел я его быстро: он находился недалеко от вокзала.

Подойдя к нему, я увидел высокий кирпичный забор с колючей проволокой поверху, глухие ворота и проходную, в которой сидел охранник.

Посмотрев мое направление, охранник пропустил меня через проходную. Я оказался в небольшом дворе, в глубине которого находилось серое здание. У его входа стояла группа наголо остриженных мальчишек в серых халатах. Увидев, что я пришел без милиционера, один из них сказал:

— Идиот, сам пришел!

Это заведение официально называлось “Детский приемник-распределитель при железнодорожном отделении милиции станции Надеждинск” (так раньше назывался город Серов). Сюда собирали беспризорников, которых милиция снимала с поездов и вылавливала на вокзалах. Многие из них были бывальыми бродяжками, умевшими и попрошайничать, и воровать. Документов ни у кого не было, у каждого была придуманная семейная история, многие называли вымышленные фамилии. Тот, кто постарше, старался снизить свой возраст, так как сюда принимали только до 14-ти лет. Более старших увозили в ФЗО (школы фабрично-заводского обучения) или передавали на какое-нибудь производство. Легенды, придуманные беспризорниками, здесь вынуждены были принимать на веру, и только их возраст определяла специальная медицинская комиссия.

Я был крупнее сверстников, и, несмотря на то, что у меня были все документы и мне было только 12 лет, меня пытались отправить учеником на обувную фабрику. Но я сказал, что пришел сюда сам, что хочу учиться в школе и, если меня не отправят в детдом, я сбегу. После этого от меня отстали.

Беспризорники были самых разных национальностей, и среди них, наверняка, были немцы. Но кто же в этом сознается? Только про меня было известно, что я немец. И меня невзлюбила одна из надзирательниц, крупная женщина с очень сильным косоглазием. Когда на вечерней поверке она кого-нибудь отчитывала, уставившись на него своим глазом,

на другом конце строя поеживался пацан, на которого смотрел другой ее глаз. Она постоянно цеплялась ко мне, стремилась как-то задеть. Она могла громко сказать:

— Ну, ты, фриц, иди сюда!

или:

— Эй, немчонок, встань в строй!

И пока я был в детприемнике, она продолжала меня травить. И, как я понял из ее намеков, попытка отправить меня на обувную фабрику была ее же затеей.

Другие надзирательницы были обыкновенными женщинами и, понимая, что я не шпана и не уголовник, относились ко мне хорошо — спрашивали, откуда я, где мои родители. Они разрешали мне выходить за ворота и брать книги в городской библиотеке, которая обслуживала и детприемник. И я проводил часы за чтением книг.

Кроме чтения, заняться здесь было нечем, и ребята целый день слонялись без дела: школьных занятий не было, играть было негде из-за тесноты. Надзирательницы нами не занимались: их задачей было следить за порядком. Только иногда они разучивали с нами военные песни и марши, постоянно звучавшие по репродуктору в эти последние дни войны.

Каждые десять дней нас водили в городскую баню, и для нас это было большим событием. Перед походом в баню мы снимали серые халаты и одевали так называемые “американские подарки”. Эта заграничная детская одежда имела яркую и пеструю окраску, была диковинных фасонов с разными замочками и блестящими пуговицами. Многим она была не по размеру: кто-то с трудом влезал в красный вельветовый комбинезончик, один из младших запахивал на себе оранжевую кофту, подпоясываясь шнурком, кто-то подворачивал штаны в крупную клетку. А девчонки специально искали что-нибудь “понаряднее”.

И вот толпа серолицых, наголо остриженных мальчишек и девчонок в разноцветной иностранной одежде нестройно вышагивала посреди улицы, громко распевая военные песни. Наша колонна привлекала всеобщее внимание. Смеясь и что-то выкрикивая, за нами двигались городские мальчишки. Улыбаясь, останавливались прохожие. Произведенным эффектом были довольны наши надзирательницы: “заграничное” одеяние должно было демонстрировать наше благосостояние, а громкие песни — высокий уровень их “воспитательной” работы.

Прошел апрель, наступил май. В День Победы, 9 мая, все мы радовались окончанию войны. Теперь все изменится к лучшему, и я мечтал, что скоро встречу с родителями, и мы опять будем вместе...

Время тянулось, а меня никуда не направляли.

Наконец, в двадцатых числах мая одна из надзирательниц повезла меня и еще одного мальчишку в Кленовской детский дом, который находился на другом краю Свердловской области.

8. “Исправдом”

Детский дом, куда нас привезли, во время войны был эвакуирован из-под Киева. Там был исправительным детским домом, и здесь на Урале он продолжал быть тем же (местные называли его “исправдом”). Здесь находились малолетние (до 14 лет) преступники, совершившие самые разные преступления (воровство, участие в грабежах и т. п.).

Детдому выделили большую часть школьного здания. Помещение не было приспособлено для содержания правонарушителей, главное, не было изолированной территории: в этом же здании действовала местная школа. Пока шла война, с этим приходилось мириться, но к концу войны исправительный детский дом решили ликвидировать и на его месте создать обычный детский дом. Предстояло вывезти около сотни криминальных малолеток, постепенно заменяя их обычными детьми. И первой партией таких “обычных” детей оказались мы двое из Серовского детприемника.

Вот так и получилось, что я снова оказался во вновь организованном детском доме (в первый раз это было в Тюхтете). Как и в Тюхтетском детдоме, в котором много было от бывшей “школы глухонемых”, в новом Кленовском детском доме практически все осталось от прежнего “исправдома”.

Остались не только прежние воспитательницы, но и прежние их подопечные, которых только собирались вывезить.

Характерный для той обстановки случай: перед нашим приездом уволили недавно назначенного директора нового детдома, бывшего директора “исправдома”. Он не успел отвыкнуть от прежних методов воспитания и на новом месте продолжал заниматься рукоприкладством. Особенно нравилось ему больно бить мальчишек пальцами по наголо остриженным головам.

Детский дом располагался на краю села Кленовское, на несколько километров растянувшегося вдоль тракта. Село было большим, — тогда в нем было четыре колхоза. Рядом с селом проходила железнодорожная магистраль Казань—Свердловск, недалеко от села находился разъезд Кленовской.

Двухэтажное, с широкими окнами здание школы, в котором размещался детдом, стояло на самом берегу реки Пут, недалеко от места ее впадения в реку Бисерть. Напротив здания на реке Пут стояла плотина с мельницей и небольшой электростанцией.

Метровые стены первого этажа здания были сложены из естественного камня, — раньше здесь был кожевенный завод (под полом мы находили каналы, ведущие в сторону реки). Второй этаж был надстроен позднее и представлял собой неоштукатуренный деревянный сруб темно-золотистого цвета.

Глухие перегородки в коридорах первого и второго этажа отделяли детдом от школьных помещений. Двор был отделен от школьного длинным забором. В дальнем углу двора стояло красивое двухэтажное здание, за которым виднелись большие деревья старого сада. Здание называли “господским домом”: когда-то в нем жил управляющий заводом. Теперь там жили директор детдома и некоторые воспитатели. Там же были и медпункт, бухгалтерия и еще какие-то службы. В другом углу двора находилась конюшня с сеновалом.

Когда мы приехали, детский дом показался нам пустым: в коридорах мы встретили только нескольких младших ребят, да во дворе играла небольшая их группа. Старших ребят я увидел в спальне, куда нас привела одна из воспитательниц. Я обратил внимание, что это не та сероликая масса беспризорников, какую я видел в детприемнике. Это были крепкие ребята тринадцати — пятнадцати лет, и чувствовалось, что каждый из них знает себе цену. Они сидели вокруг стола, на котором горкой лежала печеная картошка. Невысокий коренастый парень пригласил меня к столу, предложил картошки. Потом я узнал, это был Кипка (Киприян) Топорищев, главный здесь заводила. Меня стали спрашивать, кто я, откуда, где бывал. Я проговорился, что читал интересные книги и знаю новые военные песни. Они проявили к этому неожиданный интерес, даже попросили напеть одну из песен. Я пообещал разучить с ними эти песни и рассказать им самые интересные книги. Сами они книг не читали, — некоторые из них с трудом могли читать и писать.

Я знал много приключенческих книг и рассказывать их пришлось в течение нескольких месяцев. Рассказывал я после отбоя, время от времени спрашивая в темноте:

— Кто не спит?

Если отвечавших было мало, я прерывал свой рассказ до следующего вечера.

В первые же дни мы разучили несколько песен. И когда отправлялись куда-нибудь строем (например, на дальний огород с лопатами на плечах), мы сами, без приказа воспитателей, запевали одну из этих песен, и вся колонна, дружно шагая, подхватывала ее.

Эти криминальные ребята не были похожи на тех воров и грабителей, каких я себе представлял. Обычные пацаны! Но я удивился, узнав, что небольшого роста и простоватый на вид мальчишка был участником банды, грабившей квартиры. Он через форточку пролезал в квартиры и изнутри открывал двери.

Но не все здесь были уголовниками. Одного из мальчишек привезли в “исправдом” за побег с производства. Его из детприемника направили на завод, где поставили на такую тяжелую работу, что он не выдержал и сбежал. Его поймали, и ему грозила колония, но медицинская комиссия установила, что ему нет четырнадцати лет, и его привезли сюда в “исправдом”.

Несмотря на достаточно свободный режим, ребята эти, что удивительно, не разбежались. Пребывание здесь их, видимо, устраивало: у них был кров над головой, их как-никак кормили, и здесь, в сельской местности, они всегда могли подкормиться.

Но были и такие, которые весной сбежали, лето беспризорничали, а осенью возвращались. Схема таких побегов была проста. На соседнем разъезде пацан подсаживался в один из воинских эшелонов, которые во время войны шли непрерывно на запад, на фронт, а после войны — на восток, на войну с японцами. Солдаты, давно не видевшие своих семей, с охотой подсаживали мальчишку, просившего подвести до какой-нибудь станции. Ехать в солдатских теплушках было безопасно, да там еще и кормили. На какой-нибудь станции пацан сходил, и начиналась вольная жизнь.

Осенью, когда наступали холода, беглец являлся в милицию, говорил, что сбежал из Кленовского исправительного детдома. Его, конечно, возвращали. Следующей весной он, при желании, мог все это повторить.

Были случаи, когда сбежавшие не возвращались. В милиции они называли другую фамилию, рассказывали историю пожалостливей (обязательно с эвакуацией и с бомбежкой эшелона). Их направляли в ближайший детприемник, а оттуда — в обычный детский дом. Но, побывав в другом детдоме, все они всегда возвращались сюда.

Один из таких вернувшихся попал в детский дом, который находился в большом городе. Режим там был строгий, и было очень голодно. А подкормиться было негде: там не было, как здесь, ни огородов, ни реки, ни леса.

С этими криминальными ребятами у меня сложились неплохие отношения.

— Ты будешь прокурором, — говорили они, и у них это была самая высокая похвала.

От них мы многому научились, а главное, искусству добывать пропитание. Первый такой урок я получил сразу же по приезде. Был май, было голодно: ни в огородах, ни в лесу ничего еще не выросло. Но у ребят всегда была печеная картошка. И мне показали, как ее добывали.

В пустой комнате первого этажа “господского дома” была свалена картошка, которую привез один из местных колхозов. Для вентиляции

окно в комнату открыли и редко забили досками. Картошку свалили подальше от окна, чтобы нельзя было достать ее руками.

Ребята показали мне длинное удилище, на конце которого был привязан большой гвоздь. Удилище просовывали между досок в окне и ударяли им по картофельной куче. На гвоздь нанизывалось несколько картошин. Удилище подтягивали, картошку снимали. И так несколько раз. Картошку пекли на разведенном в саду костре.

Таких ухищрений было у них множество.

Учебный год обычно заканчивался в конце мая, но в местной школе, где детдомовские и деревенские занимались вместе, этой зимой был месячный карантин, поэтому школьные занятия продлили еще на месяц.

Один из ребят, ученик четвертого класса, предложил мне пойти вместе с ним на занятия. Делать мне было нечего, и я решил побывать на уроке. Шло повторение пройденного. Урок мне показался интересным, и я остался на следующий. Я стал регулярно ходить на занятия.

Старенькая учительница Зоя Бонифатьевна обратила внимание на мой интерес к учебе (переростки-детдомовцы вообще не хотели учиться). Она стала мне помогать, давать задания по всему материалу.

Предстояли экзамены за четвертый класс, первые экзамены в моей жизни. Я стал усиленно готовиться. Чтобы мне не мешали, я уходил в сад, забирался высоко на развилку старого дерева и там занимался. И эти экзамены я сдал, хотя проучился всего один месяц. Раньше я уже потерял один учебный год (когда пас свиней в Сибири), а этот год мне удалось спасти.

В конце года бывших воспитанников “исправдома” стали интенсивно вывозить и партиями привозить новичков. У нас уже был новый директор, и сменилось большинство воспитателей. И к началу 46-го года детский дом перестал быть “исправительным”. Теперь уже фактически.

9. Детдомовские воспитатели

Наши воспитатели работали в очень непростых условиях, особенно в первые годы существования детского дома.

У нас были дети с разными, часто с исковерканными судьбами, с разным уровнем развития. Были бывшие беспризорники, знакомые с дном жизни. Некоторые из них не учились в школе и были почти безграмотные. И были дети из интеллигентных, чаще всего, репрессированных семей. И к тем, и к другим требовался очень разный подход.

Приходилось учитывать, что дети всегда голодные и что в первую очередь их интересует все, что связано с едой. Были трудности и с

учебой: в детдоме было много переростков, не очень желавших учиться, не хватало учебников (потрепанных, довоенных), не было тетрадей, писали мы на разных листках. Плохо было с литературой: своей библиотеки у нас не было, а в школьной были старые, довоенные книги. В детдоме отсутствовал спортивный зал и практически не было музыкальных инструментов.

Первыми у нас были воспитательницы из бывшего “исправдома”. Эти мрачные женщины знали, что их скоро заменят, и у нас они просто отбывали время. С нами они общались мало, и от них мы чаще всего слышали команды, вроде:

— На обед строиться!

— На вечернюю линейку становись!

— Отбой! Всем спать!

И так далее...

Через несколько месяцев на смену им пришли новые воспитательницы, большей частью молодые женщины. Эти обращались с нами просто, и только за это они казались нам почти домашними.

Тогда же появились воспитатели мужчины. Бывшие фронтовики, они не очень-то с нами сюсюкали, что нам, мальчишкам, очень нравилось.

В конце 1945 года к нам приехал Владимир Петрович, молодой демобилизованный офицер. Стройный брюнет, с небольшими усиками, он сразу же покори нас военной выправкой и неутомимой энергией. Любые задачи он решал с чисто фронтовой смекалкой.

Понадобилось поставить ограду вокруг нашей территории. Жерди для нее мы заготовили на лесной делянке, находившейся на берегу реки Пут. Заготовить-то мы их заготовили, а привезти их было не на чем. Владимир Петрович собрал группу ребят постарше, прошел с нами до делянки, где лежали заготовленные жерди. Из этих жердей ивовыми прутьями мы каждому из нас связали по узкому плоту. Плоты спустили на воду, и каждый, раздевшись, в одних трусах, оседлал свой плот.

Отталкиваясь длинными шестами, мы поплыли вниз по реке в сторону детдома. Владимир Петрович следовал по берегу, страхуя нас и подавая команды.

Некоторые плоты переворачивались, но ребята забирались на них снова, и плавание продолжалось. До детдома было недалеко — несколько километров, и река местами была глубокой, но наше плавание закончилось благополучно.

За это рискованное мероприятие Владимиру Петровичу очень попало на педсовете, но мы были в восторге.

Другое опасное приключение тоже было связано с Владимиром Петровичем. После сильных дождей снесло деревянную плотину, стоявшую на реке Пут. Она стояла напротив нашего здания, и я случайно видел, как ее сносило: вода прорвала один ее край, и плотина стала разворачиваться, как открывается дверь. По бурной воде поплыли бревна, на некоторых спасались мельничные крысы. Было видно, как хлынувшая вода переполнила реку Бисертъ, куда впадала Пут, и на короткое время течение Бисерти пошло вспять. Потом вода схлынула, и часть вынесенных бревен осталась на берегах. Одно из бревен оказалось недалеко от детдома, и наши решили его забрать на дрова для кухни. И приходилось спешить, пока его не взяли другие. Транспорта у нас, конечно, не было, и за решение задачи взялся Владимир Петрович.

Он по росту выстроил нас по обе стороны бревна, длина которого была не менее пяти-шести метров. Потом он сказал, чтобы каждый взялся за бревно снизу. Мы стояли так тесно, что наши руки касались. По его команде мы дружно подняли бревно, подставили под него плечи и, как муравьи, понесли его в сторону детдома. Шагать мы могли только в ногу, и, чтобы не сбиться с шага, мы завели озорную песню:

Из-за леса, леса темного

Привезли его огромного.

Привезли его на семерых волах,

Он, бедняга, был закован в кандалах.

И так далее... В этой песне были и не совсем пристойные слова, но перепуганные воспитательницы, встретившие нас возле детдома, не решились остановить наше пение, опасаясь, что мы собьемся с шага и тяжелое бревно нас покалечит. Хотя для каждого из нас оно было не таким уж и тяжелым: во-первых, древесина была очень сухой, а во-вторых, нас было не менее 35-40 человек, и каждому доставался только небольшой его отрезок. Но, если бы один из нас упал, завалился бы весь строй, и бревно, действительно, могло наделать бед.

Но все обошлось: мы дошагали до нашего двора, по команде перевели бревно с плеч на руки и дружно опустили его на землю.

За эту историю Владимиру Петровичу попало опять, а у ребят она стала настоящей легендой.

В детдоме он пробыл всего год: с его энергией у нас ему было тесно. А возможно, что руководство детдома устало от его активности...

Другой наш воспитатель, Василий Сидорович Уткин, пришел в детдом в 1946 году. Артиллерийский офицер, он всю войну прослужил на Дальнем Востоке. Когда началась война с японцами, при переправе через Амур ему снарядом раздробило челюсть. Он долго лечился, и к нам он приехал

прямо из госпиталя, где ему по кусочкам восстанавливали лицо. Лет ему было около сорока, и нам он казался совсем пожилым.

Какое он имел образование, я не знаю, но он любил стихи и даже сам сочинял. Он показал мне поэму, написанную им еще в армии, про любовные похождения молодого лейтенанта, как он обманывал ревнивого мужа, как, убегая от него, прыгал со второго этажа, и т. д. Поэма, похоже, была автобиографичной, но на меня она не произвела впечатление.

От него я впервые услышал стихи Сергея Есенина, о существовании которого даже не знал. Мы заготавливали в лесу дрова, и во время перерыва он отвел меня за деревья и показал небольшую книжку в твердом переплете:

— Это Сергей Есенин, он запрещен, — сказал он, оглядываясь. — Вот послушай.

И раскрыл книжку:

Ты жива еще, моя старушка?

Жив и я. Привет, тебе, привет!

Пусть струится над твоей избушкой

Тот вечерний несказанный свет.

— Какие стихи! — сказал он.

Он был из здешних мест, и многое из того, что мы знали о сельской жизни, об окрестных местах, мы узнавали от него.

Когда я готовился поступать в техникум, Василий Сидорович сказал:

— Я дал тебе хорошую характеристику, с ней тебя обязательно примут.

Эту характеристику я увидел перед самым отъездом, когда мне вручили мои документы. Среди похвальных эпитетов (“пользуется уважением у сверстников”, “прилежен в учебе”, “общественно активен” и т. д.) в ней стояло:

— Любит спорить и в спорах стремится победить, особенно любит спорить со старшими.

— Трудолюбив, но старается найти ряд объективных причин, чтобы не делать порученную ему работу.

Если с первым я еще мог бы согласиться (хотя не скажешь, что оно очень уж положительное), то из второго нельзя было понять, трудолюбив

я все-таки или нет. Когда я спросил, что он имел в виду, когда писал про “объективные причины”, он напомнил мне случай с пилой.

Его я, конечно, помнил. Мы заготовливали в лесу дрова, и у нас сломалась лучковая пила. Василий Сидорович направил меня за пилой в соседнюю деревню к своему знакомому. До деревни было недалеко, и, чтобы не возвращаться порожним, я стал допытываться, брать ли другую пилу, если у его знакомого не будет лучковой, к кому мне обращаться, если знакомого не будет дома. Отвечая на все мои “если”, Василий Сидорович стал закипать, видимо, считая, что я придумываю причины не ходить за пилой. Я же, выяснив, что считал нужным, сходил в деревню, принес пилу, и мы работали дальше.

Он всегда стремился к “высокому слогу”, и слово “трудолюбивый” показалось ему уж очень простым. Вспомнив историю с пилой, он дописал красивый оборот — “ряд объективных причин”. Над полученным смыслом он, видимо, не задумывался...

И все-таки я запомнил Василия Сидоровича как доброго и сильного человека, не очень грамотного, но на свой лад стремящегося к прекрасному, много сделавшего для того, чтобы мы стали нормальными людьми.

Среди наших воспитателей всегда было не более одного-двух мужчин, основную их часть составляли женщины. Все они были городскими, в местной деревенской жизни им не находилось места, и, к тому же, многие из них не имели семей. И в детдоме они, можно сказать, дневали и ночевали. Их трудовой день продолжался с утра до позднего вечера: персонала не хватало, и они работали на двух-трех ставках, да и по ночам еще дежурили.

Много душевных сил отдали эти женщины детдомовским детям, и всех их я вспоминаю с благодарностью. Особенно теплые воспоминания у меня сохранились о Нине Ивановне Пятковой, воспитательнице нашей группы.

Это невысокая женщина, которой было около тридцати, с ровным спокойным характером. Она никогда не повышала на нас голос. К ней подходили с любым вопросом: она выслушает, что-то посоветует, может пожалеть, а может и отчитать. В ее отношении к нам было что-то материнское, и мы это чувствовали.

Помню, как, немного дурачась, я спросил:

— Нина Ивановна, а что такое — голова болит? Может, она у меня болит, а я не знаю?

На что она ответила спокойно:

— Заболит — узнаешь.

В каком-то отношении “воспитателями” были и рабочие из детдомовского персонала. Они были местными, от них мы узнавали деревенские новости, они нас учили крестьянской работе. Настоящими авторитетами были для нас два брата, два рослых красавца — сапожник дядя Толя и конюх дядя Митя. Дядя Толя, младший из братьев, еще мальчишкой потерял ногу на железной дороге и ходил с деревянным костылем. Дядя Митя был на фронте и только недавно демобилизовался.

На старинной швейной машинке дядя Толя шил для нас тапочки из конвейерной ленты и автомобильных покрышек. Когда мы приходили в его маленькую мастерскую, он оживлялся, рассказывал какую-нибудь историю, которых знал множество, вместе с нами хохотал над своими, далеко не детскими, анекдотами. Часто рассказывал про очередную свою драку, о том, как его хотели избить, как всегда, из-за любовных похождения, и он ловко отбилсЯ своим костылем. При этом он посмеивался: какие же это мы неумехи в таких делах...

Дядя Митя, человек семейный, был тоже завзятым ловеласом. Он хвастался своими победами, в том числе и среди женщин нашего детдома... Он знал множество солдатских баек, часто их рассказывал. От него, например, я узнал, что легендарный маршал Жуков был очень жесток, и по его приказам расстреливали своих же солдат и офицеров. У дяди Мити было много боевых наград, но он не раз повторял: “...на фронте больше наград получал не тот, кто воевал, а кто был поближе к штабу”.

Спокойное и вполне доброе отношение к нам воспитателей, относительно свободный режим, да еще окружавшая нас уральская природа создали в детдоме обстановку, близкую к домашней. И благодаря ей, как я думаю, у нас не было случаев злостного хулиганства, прекратились побеги ребят.

Для всех нас (а для меня уж точно) Кленовской детский дом стал настоящим родным домом.

10. Рецидивист и гармошка

Однажды у нас появился штатный баянист — Валерий Иванович, низкорослый горбун с бледным рябоватым лицом. Он был профессиональным музыкантом: своими длинными, как у всех горбунов, пальцами он виртуозно играл на своем концертном баяне.

Деревенские пацаны рассказывали, что он подселился к чудаковатой старой деде, о которой по деревне ходили разные анекдоты. Еще говорили, что он играет на деревенских свадьбах и этим хорошо зарабатывает. В детдоме он появлялся нечасто — на репетициях нашей самодеятельности, да на праздничных утренниках.

За хорошие показатели по успеваемости наш детский дом премировали хроматической гармошкой — хромкой, как все говорили. Для

сохранности ее убрали в склад. Узнав о гармошке, Валерий Иванович настоял, чтобы ее передали нам, и сам принес ее в нашу спальню. Мы сразу же выстроились в очередь на ней попиликовать.

Через несколько дней он пришел к нам в спальню и, взяв гармошку, сыграл на ней простую частушечную мелодию (что-то вроде — та-та-ти-та, та-та-ти-та, та-та-ти-та, та-та-ти-та). Потом сказал:

— Кто сможет повторить?

Повторить попытались многие. У меня получилось лучше, и он предложил мне дальше потренироваться и пообещал прийти еще.

На другой день Валерий Иванович пришел с баяном. Я показал, как у меня получается. Послушав, он сказал:

— Играй, не останавливайся.

Мою незамысловатую игру он стал сопровождать сложными вариациями на своем баяне. Неожиданно зазвучала красивая музыка, на звуки которой сбежались ребята, пришли воспитатели. Всех поразило именно мое участие в создании этой музыки: мы оба растягивали меха, оба играли, а кто что играл, они не разбирались. С этого момента я для всех в детдоме стал гармонистом.

Я разучил эту частушку, потом стал подбирать мелодии, многие из которых я знал еще с довоенного времени. Дело в том, что в Энгельсе, еще до переезда в наш недостроенный дом, мы жили на первом этаже детской больницы, где завхозом работал мой отец. Окна нашей квартиры выходили на танцплощадку городского сада, где по вечерам постоянно звучали вальсы, танго, фокстроты. Иногда там ставили щиты с текстами новых песен, и их разучивала вся танцплощадка. Мне было всего пять или шесть лет, но многие мелодии остались в моей памяти.

Со временем я играл уже бегло, наигрывал песни, танцы, деревенские наигрыши, быструю “улочную”. Девчонки часто ходили за мной:

— Робка, поиграй!

Если это было летом, я выходил во двор, растягивал меха, и девчонки начинали танцы, запевали песни. Однажды мы с мальчишками забрались на крышу нашего здания и под гармошку горланили частушки с довольно “соленым” текстом. Бывшие во дворе воспитательницы не могли разобрать слов, но, слыша наше пение, одобрительно нам улыбались...

Из села приходили девушки, просили поиграть у них на “пяточке”. Играть в селе мне случалось не только летом, но и зимой. Вспоминается один из морозных дней: парни и девушки, взявшись за руки и перегордив улицу, идут по селу, громко распевая частушки. Я иду в середине этого ряда и в тонких варежках, чтобы не обморозить пальцы, лихо играю на гармошке разухабистую “улочную”.

По “Самоучителю для хроматической гармонии” я познакомился с нотами и даже разучил несколько мелодий. Но дальше меня не хватило: мне было проще играть “на слух”. Пробовал я играть на кустарных гармошках “русского строя” и на трофейных гармошках “немецкого строя”. У таких гармошек высота звука зависит от направления движения мехов.

Играть на них сложнее, но звучание красивее, чем у моей “казенной” хромки.

Валерий Иванович организовал у нас “шумовой оркестр”, куда вошел его баян, моя хромка, гитара, балалайка, огромная балалайка-контрабас, угол которой упирался в пол, кастаньеты, трензель (металлический треугольник) и школьный барабан. Мы разучили несколько мелодий, девочки подготовили русский перепляс с чечеткой, сочинили бойкие частушки. В детдом привезли двух беленьких сестер, учениц балетной школы, и в нашем “ансамбле” появился балетный номер. Гвоздем нашей программы было сольное выступление Валерия Ивановича: его виртуозная игра завораживала слушателей.

С нашими концертами мы ездили по окрестным деревням. Репертуар у нас был незамысловатый, но в деревнях, где артистов никогда не было, нашими выступлениями были очень довольны. Платили ли за наши концерты, не знаю, но нас кормили, и это было главным.

Создание “шумового оркестра” подняло авторитет Валерия Ивановича, и его назначили подменным воспитателем: он замещал воспитателей в их выходные дни и во время отпусков. Он неплохо ладил с ребятами, был всегда дружелюбен. Но мы знали, что он мог быть и строгим, даже жестким.

Было лето, уже заканчивались каникулы. Я находился во дворе, когда кто-то из пацанов срочно позвал меня в спальню. Там в окружении ребят стоял Валерий Иванович, бледный и весь какой-то взъерошенный. Он сказал, что ему нужно бежать, что здесь ему грозит тюрьма. Он просил достать ему булку хлеба и почему-то простыню.

Он рассказал, что произошло. Прошлой зимой, проезжая с очередным нашим директором через какую-то деревню, он стащил бочку керосина — просто перевалил ее со стоявших возле одной избы саней в свои сани. Керосин нужен был детдому, как говорится, позарез: после смыва плотины электростанция не работала, и вечерами мы сидели в темноте. С появлением именно этого керосина у нас зажглись керосиновые лампы.

Горбун ругался, что слабак директор сразу же во всем сознался и выдал его. Тут же он рассказал о себе.

Вырос он в Свердловске, родители его были уважаемые в городе люди. Он закончил музыкальную школу по классу баяна. Потом он стал уголовником, несколько раз был осужден. В лагерях ему было неплохо: на тяжелых работах он, как инвалид, не работал, а с лагерным

начальством он дружил, играя на их пьянках. У нас он отсиживался после неудачной воровской операции.

Ребята достали ему хлеба и простыню, он попрощался и исчез.

Через полгода он снова появился и сразу прошел в нашу спальню. Он рассказал, что, убегая в прошлый раз от ареста, сел в поезд, идущий в сторону Москвы. В поезде он сразу же нашел таких же дружков-уголовников.

— Поезд идет медленно — чемоданы летят, поезд идет быстро — пассажиры летят, — рассказывал он. — Так мы работали.

Так он добрался до Москвы. В электричке его, как он сам сказал, по глупости задержали: он ехал без билета, и при нем был где-то украденный аккордеон. На суде ему припомнили и бочку с керосином. Его осудили, дали срок. В лагере ему, как всегда, было неплохо. Через несколько месяцев прошла амнистия для инвалидов, и его выпустили.

Рассказав о себе и расспросив про наше житье-бытье, он распрощался с нами и ушел. Ни с кем из сотрудников детдома он не поговорил: они шарахались от него, как от чумного. Видимо, очень уж большой был скандал из-за того, что целый год с детьми работал рецидивист, профессиональный уголовник.

Да он и не искал с ними встречи. Ему важнее было поговорить с ребятами, с которыми он единственный раз в жизни чувствовал себя не уголовником, а просто человеком, учившим хорошему детдомовских мальчишек.

11. Сенокосы

В первое лето утром, когда мы еще спали, нас разбудил громкий мужской голос:

— Кто поедет на сенокос?

Еще не проснувшись до конца, я подумал: там же кормить будут, — и вызвался ехать. Еще согласился ехать только Генка Логинов.

Кроме нас с Генкой, на заготовку сена для наших лошадей поехали взрослые из персонала: две девушки уборщицы, парень рабочий и завхоз Василий Иванович, крепкий старик с черной с проседью бородой.

На другой день мы погрузились на телегу, на которой уже лежали какие-то мешки и косы, и, после долгой езды по лесным дорогам, прибыли на выделенную нам делянку.

Приехавшие с нами взрослые были деревенскими, для них заготовка сена было обычным делом, а для нас с Генкой все здесь было впервые.

Сначала построили два шалаша, один из них для девушек. Выбрали место для косьбы и отдельно участок для нас с Генкой. Нам с ним вручили детские косы с коротким лезвием, показали, как их держать, как косить так, чтобы не оставалось позорных “хвостов” (пучков несрезанной травы).

После десятиминутного обучения мы с Генкой приступили к работе.

В первые дни мы с ним очень уставали. Наши прокосы были короче, чем у взрослых, но мы все равно отставали от них: не хватало ни сил, ни умения, да и наши косы были поменьше. На последних метрах прокоса я думал, что упаду и больше не встану. С Генкой было то же самое.

Закончив прокос, мы без сил валились на траву, где уже отдыхали взрослые. После короткой передышки мы приходили в себя, дощечками со смесью вара и песка (вместо брусков) правили наши косы и вместе со взрослыми начинали новый прокос.

Потом мы приноровились, и косьба не казалось нам такой тяжелой, как в первые дни.

Делянка для покоса находилась на каменистом холме, и наши косы часто попадали по камням. По вечерам Василий Иванович правил косы, молоточком “оттягивал” их лезвия на маленькой наковальне, прибитой ко пню.

Когда сено в валках подсыхало, девушки начинали его “ворошить” — переворачивать толстые валки деревянными граблями. Высохшее сено мы сгребали в копны, которые с помощью нашей лошади сволокивали к месту, где намечали ставить стог. На этом месте уже стоял “стожар” — высокий шест в центре будущего стога. К нему шалашиком были прислонены “боганы” — более короткие шесты с рогульками на конце.

Стога мы сметывали все вместе, но принимал сено и складывал его в стог самый опытный из нас — Василий Иванович. Чтобы сено оставалось сухим, стога ставили пустыми внутри и с норами внизу для вентиляции. Когда ночи стали холодными, в этих теплых, пахнущих свежим сеном, стогах мы потом ночевали.

Вечерами, сидя у костра, Василий Иванович любил порассуждать со мною и с Генкой на самые разные темы. Он, например, доказывал, что “образованные”, все эти “профессора” — просто дармоеды, и они сидят на шее у них, у крестьян. Мы пытались спорить, но переубедить его было невозможно: в деревнях, похоже, так думали все.

Видя в нас “образованных дармоедов”, Василий Иванович старался поставить нас в тупик, ехидно задавая нам каверзные вопросы, вроде:

почему трещат дрова в костре? Мы, как могли, отвечали, а Василий Иванович только посмеивался в бороду.

И все же к нам, к мальчишкам, он относился по-доброму. Рассказывал про окружавший нас лес, учил угадывать погоду на завтра, показывал съедобные и ядовитые растения, пересказывал местные байки про волков, которых здесь было множество, про рысей, которые, как говорили, прыгают людям на спину, про медведей, с которыми бабы сталкивались в малинниках. На соседней речке он показал нам места, где в молодости добывал платину. Полузасыпанные старательские ямы были окружены зарослями белой малины.

На следующий год на сенокосе нас было четверо ребят и еще несколько взрослых. Не было с нами Генки Логинова: он заболел какой-то хронической болезнью, и для лечения его увезли в Одессу.

Лето в тот год было дождливым и холодным. Сено в валках не сохло, приходилось многократно его ворошить, а из-за дождей косьбу часто останавливали. От бесполезной работы и вынужденного безделья настроение было паршивое. Ничем другим этот сенокос не запомнился.

В 47-м году для покоса нам выделили горный склон, у подножья которого протекал лесной ручей, густо заросший черемухой. Далеко за ручьем простирался старый сосновый лес.

Нас приехало пять мальчишек, а из взрослых был только воспитатель Василий Сидорович, демобилизованный офицер из местных (о нем я уже говорил).

В нижней части склона из срубленных молодых деревьев мы построили односкатный балаган, открытой стороной обращенный вниз к ручью. Покрыли его толстым слоем свежескошенной травы и такую же траву постелили внутри. Развели костер и сварили на ужин картошку. Василий Сидорович расщедрился и вместе с вечерней пайкой раздал нам по кусочку вкуснейшей американской колбасы. Она была в красивых голубых баночках с припаянным ключиком для открывания. Кстати сказать, в столовой нам такую колбасу не давали, хотя в детдом она, как видим, поступала...

Перед балаганом мы подготовили костер-нодью — одно сухое бревно положили на другое и закрепили кольями. Такой костер горит всю ночь, давая много тепла. Для растопки бревна обложили сухим хворостом.

Еще заранее Василий Сидорович предупредил, что ночевать он будет в соседней деревне. Солнце садилось, когда он ушел, пожелав нам спокойной ночи. Мы остались одни.

Стало быстро темнеть. Мы подожгли растопку в ночном костре и, закутавшись в одеяла, улеглись на пахучую травяную постель. Спать на новом месте не хотелось. Мы разговаривали, наблюдая за разгоревшимся

хворостом. Растопка прогорела, между бревнами уже тлел огонь, слабо освещая темноту. Покрапал мелкий дождь.

Со стороны соснового леса вдруг послышался щенячий тьявкаящий полулай-полувой. К нему присоединился такой же голос, потом еще несколько более низких голосов. И вот, казалось, весь лес наполнился многоголосным волчьим воем.

Тоскливый вой волков наводит невольный ужас даже на взрослых, а мы, мальчишки, были одни, нас окружала глухая темнота, которую только подчеркивал слабый свет ночного костра. Притихшие, мы слушали этот вой, напряженно вглядываясь в темноту. Вдруг кто-то из ребят показал в сторону леса и сдавленным голосом произнес:

— Волки!

В темноте мы увидели холодные, фосфоресцирующие огоньки, и их становилось все больше и больше. Мы не сомневались, что это волки: в их глазах отражался свет нашего костра. Мы вскочили, сгрудились у костра и, чтобы пламенем отпугнуть волков, стали бросать в него сухие ветки, приготовленные на утро.

Из-за горы поднялась полная луна, осветила все вокруг, и огоньки вдруг исчезли. Только теперь мы поняли, что это не волки, а мокрые листья стоявших ниже по склону черемух, блестевшие на слабом свете поднимавшейся луны.

Вой волков внезапно прекратился. Стало тихо, слышен был только шелест листьев. В костре ярко горели брошенные нами ветки. Мы снова улеглись, нервно посмеиваясь над случившимся.

Где-то в стороне вдруг раздался человеческий крик, скорее вопль. Кричала женщина, на которую, очевидно, напали волки. Мы вскочили, не зная, что делать, как ей помочь. Ночная местность была незнакома, да и оружия у нас не было. Крик внезапно оборвался, можно было только гадать, почему... Но через некоторое время вопль раздался опять.

— Раз кричит — значит жива, — подумали мы, — возможно, она спаслась на каком-нибудь дереве.

Крик прекратился и через несколько минут опять повторился. Крики с перерывами продолжались всю ночь. Толком спать в эту ночь мы так и не смогли.

Я уже говорил, что в те годы на Среднем Урале было настоящее нашествие волков. Возможно, это были полярные волки, так как их окраска была светло-серой. Отстреливать их было некому: в деревнях почти не было мужчин. Волки даже днем “задирали” овец, телят, жеребят. Были случаи нападения на коров и лошадей.

Наутро вернулся Василий Сидорович. Рассказав про наши ночные страхи, мы дружно заявили, что одни больше не останемся. Он стал нас успокаивать, сказал, что такими криками здешние женщины отпугивают волков:

— Похоже, что недалеко отсюда в ночном пасли лошадей. Женщины, которые всегда пасут по двое, услышали, как и вы, вой волков и стали по очереди кричать, отгоняя волков.

— Эти-то крики вы и слышали, — сказал Василий Сидорович.

Объяснил он нам и многоголосие ночного воя:

— Судя по всему, недалеко отсюда находится волчье логово с молодыми и старыми волками.

Он по-военному приказал нам не трусить, а самим перейти в наступление.

Вооружившись косами, мы гуськом двинулись за Василием Сидоровичем, перешли ручей и углубились в старый сосновый лес, откуда мы слышали ночной вой. Волков мы, конечно, не встретили, но зато нашли их логово. На толстом слое хвои были видны следы их лежбища, остро пахло псиной. По предложению Василия Сидоровича мы ногами разворошили логово.

— Волки сюда не вернуться, — сказал он.

И действительно, волков мы больше не слышали. Только иногда доносились крики женщин, пасущих в ночном лошадей, но эти крики нас уже не пугали.

В четвертом моем сенокосе (это был 1948 год) принимало участие несколько взрослых и более десяти мальчишек и девчонок. Расположились мы целым лагерем: у нас было три просторных шалаша — для взрослых, для ребят и для девчонок. В центре лагеря была площадка с местом для общего костра.

По вечерам все приходили уставшие. После ужина собирались у костра, я приносил гармошку, и нашей усталости как не бывало. Девчонки начинали танцы, на весь лес раздавались лихие частушки. Все вместе запевали песню, потом другую. И только поздним вечером нас с трудом отправляли спать: утром надо рано вставать, пока роса.

Этот последний сенокос я вспоминаю как какой-то праздник, хотя это было совсем не так: была и тяжелая, с утра до вечера работа, были дожди и изнуряющая жара. Но в памяти остались именно эти веселые и, как я теперь понимаю, счастливые вечера у ярко горевшего лесного костра.

12. Добыть пропитание

Вспоминая, как мама уговаривала меня что-нибудь съесть, а я отказывался, я думал:

— Какой же я был дурак. Теперь-то я бы съел все, что мне давали...

В детдоме нас кормили три раза в день, но из столовой мы выходили голодными. Мы постоянно хотели есть, и каждый был озабочен, как добыть себе пропитание.

С дополнительным пропитанием трудно было зимой, когда добывать еду было негде: леса, поля и огороды засыпаны снегом, реки покрыты льдом. И перебои с продуктами, случавшиеся в детдоме, происходили почему-то всегда зимой. В какой-то год, например, нас всю зиму вместо мяса кормили бочковой камбалой.

Единственно, что удавалось зимой достать, — это картошку. Одну-две картошины кто-то смог стащить, помогая на складе, кто-то — во время дежурства на кухне. Несколько картошин можно было выменять у деревенских мальчишек на карандаши и перья.

Добытые картошины мы пекли в печах-голландках, дверцы которых выходили в общий коридор. Мы собирались возле них по вечерам, когда печи протапливали на ночь, и каждый терпеливо ждал, когда за чугунной дверцей испечется его заветная картошина.

С приходом весны мы начинали собирать перезимовавшую в земле и еще мерзлую картошку. После оттаивания она становилась мокрой и мягкой. Некоторые клубни оставались белыми, а другие оказывались почему-то черными. Мы лепили из них лепешки, которые называли “крахмал”. Эти “крахмалы” мы пекли в тех же печах.

В одну из зим из-за нехватки дров нас переселили в “господский дом”. В новой нашей спальне было очень тесно, по всей комнате кровати стояли вплотную друг к другу. Но нас эта комната устраивала: в ней находилась печка с чугунной плитой, на которой мы пекли свои “крахмалы”.

В этой спальне мы прожили всю зиму. Весной мы, как обычно, стали собирать перезимовавшую картошку. Как-то мы сидели на кроватях у плиты, на которой пеклись наши “крахмалы”. Дверь открылась, и в спальню вошли какие-то городские дядьки с портфелями. Они стали расспрашивать, как мы живем, чем занимаемся, как питаемся. В спальню заглянула испуганная воспитательница младшей группы, но один из пришедших закричал:

— Вон отсюда!

Воспитательница исчезла.

Один из дядек брезгливо показал на наши черно-белые лепешки:

— Что это у вас ?

Мы ответили, что это “крахмал”, который мы сейчас будем есть. Одну из лепешек он попросил взять с собой. Завернув, еще горячую, в бумагу, он положил ее в портфель. Потом мы смеялись над пацаном, который оказался сегодня без “крахмала”.

А дядьки с портфелями были какой-то комиссией из Свердловска, приехавшей снимать нашего директора (директоров у нас снимали почти каждый год).

Когда наступала пора посадки огородов, наш “голодный” период заканчивался. Нам доверяли посадку только картошки, и, где бы мы ее ни сажали (на детдомовском или на колхозных огородах), на костре для нас всегда варили картошку. И несколько картошин можно было прихватить с собой.

А уж летом еду мы добывали, как говорится, везде: на полях и огородах, в окружавших нас лесах и в наших реках.

Рыбачили мы чаще всего на Бисерти, где были и быстрые перекааты, и тихие заводи. Некоторые рыбачили уже весной: в омутах у мельницы хорошо ловились налимы. Но обычно ловили рыбу попроще: пескарей, ершей, окуней. Одно время в детдоме был свой рыбак с лодкой и с рыбацкой снастью. Иногда он брал нас с собой, и мы с удовольствием ему помогали — заводили на глубину бредень, в тихих заводях загоняли рыбу в сеть “боталом” (длинным шестом с пустым колоколом на конце). Свой улов он сдавал на кухню, но какая-то рыбешка перепадала и нам.

У каждого из нас были свои крючки и лески (в местном кооперативе мы их выменивали на лекарственную ромашку), у каждого был котелок для варки, сделанный из банки от американской тушенки, и немного соли. Для разведения костра каждый имел кресало с кремнем и коричневый трут из чаги (березового гриба).

В окрестных лесах было много ягод, но наибольшей популярностью у нас пользовалась малина. Особенно много ее было в малинниках на старых гарях. Придя на малинник, мы наедались малиной, как говорится, до отвала, а потом только пили сок, который надавливали из ягод в котелках. В болотистых низинах мы собирали черную смородину, в зарослях вдоль лесных ручьев — черемуху. А на солнечных полянах “клевали” сладкую землянику.

Встречались в лесу и другие съедобные растения. Это могла быть маслянистая луковица лесной лилии, или толстый корень обыкновенного лопуха, по вкусу напоминавший капустную кочерыжку, или молодые побеги высокой трубчатой травы, по местному “пиканы”. Поближе к осени мы собирали и пекли в кострах кедровые шишки. А вот грибы, которых в лесу было много, мы не ели: мы их плохо знали, и еще, возможно, потому, что местные жители почему-то не увлекались сбором грибов.

Поспевали колхозные огороды, и мы понемногу таскали с них картошку, морковь, капусту, толстые корни турнепса и еще один корнеплод, который я никогда потом не встречал. Назывался он “буква”, по внешнему виду и на срез он был похож на редиску, но в диаметре достигал 10-15 и более сантиметров и был сладковатым на вкус.

Деревенские огороды мы не трогали, хотя деревенские приписывали детдомовцам любую пропажу (возможно, что это сохранилось со времен “исправдома”). В одном из деревенских огородов кто-то ночью накопал и увез несколько мешков картофеля. Хозяйка огорода с криком прибежала к нашему директору. Нас построили, стали выяснять, кто это сделал. Напрасно мы объясняли, что мы не могли это сделать, что столько картошки нам не надо, а если мы берем, то только куст-другой, а деревенские огороды мы вообще не трогаем. Но нас не слушали и для наказания продержали в строю несколько часов.

Кроме выстаивания в строю, нас наказывали и запретом на выход с нашего двора. Тогда нам приходилось туго: добывать еду было негде, а если у кого-то была припасена картошка, ее негде было ни испечь, ни сварить, — костерок не разведешь, а летом печь топилась только на кухне. Пробовали мы есть картошку сырой, но от нее вязло во рту. А потом приспособились — поднимались на крышу, подбирались к кухонной печной трубе, опускали в нее длинную проволоку с нанизанной на ней картошкой. Проволоку закрепляли, и картошка пеклась горячим дымом.

Возможность получше поесть появлялась и тогда, когда мы участвовали в работах за пределами детдома — на сенокосах, на заготовке дров. Иногда нас посылали на колхозные работы (за это детдому давали автотранспорт). Там, кроме обязательной картошки, нам давали деревенский хлеб, пахту или обрат (снятое молоко). Во время дежурств на кухне и в столовой приходилось много работать: мы чистили овощи, мыли котлы и кастрюли, разносили по столам порции. Но дежурящие получали порции побольше, а иногда им доставались остатки пищи в тех же котлах и кастрюлях.

Я уже говорил, что директоров у нас снимали почти ежегодно. Снимали “за материальные злоупотребления”, а если попросту, за воровство. Вместе с ними снимали еще несколько человек, но для нас это мало что меняло: приходили другие, и все продолжалось, — продукты растаскивали все, кто мог, — и администрация, и кладовщики, и повара. Одна из сотрудниц, у которой была большая семья, специально переехала сюда из города, чтобы кормиться возле детдома.

Многочисленные комиссии, устанавливавшие эти факты, удивлялись: при таком воровстве они ожидали увидеть худых и изможденных детей, а мы были довольно крепкими и загорелыми. Они не знали, что здесь, в сельской местности, есть много способов добыть себе пропитание. И еще свежий воздух, солнце, купание в реке и т. п. Они не понимали, что здесь нам помогает сама природа.

13. Перка, Коник

У нас всегда был какой-нибудь пес, но так уж получалось, что выживал он у нас не больше года.

Одну нашу собаку звали Тузик. Небольшой песик с густой коричневой шерстью был всеобщим любимцем, с ним всегда кто-нибудь возился. Жилось ему у нас сытно: его кормили всем детским домом. Во время обеда кто-нибудь с собачьей миской обходил все столы, и каждый отливал туда ложку супа и бросал кусочек хлеба. Нас было много, и Тузику перепадало достаточно еды. Когда он к нам прибился, он был худой и какой-то чахлый. У нас он отъелся, шерсть его залоснилась, стала пушистой.

Среди зимы Тузик вдруг исчез. Ребята часами искали его в окрестных зарослях, но все было напрасно.

Недели через две у нового кладовщика, молодого крепкого мужика, появились рукавицы с пушистым коричневым мехом. Мы решили, что это мех нашего Тузика. Так это было или нет, не знаю, но дети дружно возненавидели кладовщика. Началась настоящая травля: то его хором дразнит малышня, то какую-нибудь гадость напишут на дверях склада, то столкнут штабель пустых ящиков возле склада или еще что-нибудь. В конце концов он исчез: или уволился сам, а может, ему предложили уйти (дирекция знала о нашей с ним войне). Как бы то ни было, но у нас появился другой кладовщик.

Другую нашу собаку звали как-то странно — Перка. Это был черный короткошерстный пес с закрученным в кольцо хвостом. Очень живой, он весело играл с ребятами, часто увязывался за кем-нибудь в лес или на реку.

Однажды мы с ребятами возвращались с рыбалки. Только мы зашли на мост через Бисертъ, как нам навстречу на мост влетела толпа детдомовцев с криком:

— Перку убивают!

Кто-то видел, как деревенские гонялись за нашим Перкой, и половина детдома бежала его спасать. Мы тоже присоединились. Побоища с деревенскими, к счастью, не произошло: Перка нашелся целым и невредимым.

Перка прожил у нас лето и осень. Наступила зима. В эту морозную зиму волки были особенно дерзкими. По ночам они выманивали собак со дворов, а потом утаскивали их (деревенские говорили, что волки подманивают собак, тихо поскуливая у ворот). Со двора мельника волки утащили очень ценную для него собаку: она на мельнице ловила крыс. Мельник ее берег и постоянно держал на привязи. Но собака рвалась к волкам и, освободившись от привязи, сама выскочила за ворота.

В нашем дворе по утрам мы часто видели на снегу множество волчьих следов. И Перка, чуя, видимо, волков, часто рвался по ночам из корпуса. Каждый вечер мы уводили его в корпус и сами проверяли, закрыты ли наружные двери. И просили дежурного не выпускать собаку, как бы та ни рвалась.

В одну из ночей дежурила тетя Маша, очень нервная пожилая уборщица. Во время гражданской войны колчаковцы (кстати, из этого же села) на ее глазах жестоко убили ее мужа, и после этого она стала немного “не в себе”.

Вечером мы, как обычно, завели Перку в здание, проверили на дверях запоры и еще раз предупредили тетю Машу, чтобы та не выпускала собаку, как бы та ни рвалась.

Утром Перки в здании не оказалось... Тетя Маша оправдывалась, что он всю ночь рвался наружу, с лаем бросался на дверь, и она не смогла этого долго вынести. В конце концов она открыла дверь и выпустила собаку.

Мы выбежали во двор и на снегу увидели волчьи следы, которые уходили в сторону реки. Мы гурьбой побежали по волчьим следам и на замерзшей реке увидели сначала пятна крови на снегу, а потом и замерзшие части нашего Перки — кусок лапы, часть его бока.

Для ребят трагическая гибель веселого Перки было большим потрясением. Девчонки плакали, все ругали полусумасшедшую тетю Машу. И еще долго вспоминали разные истории, главным героем в которых был всеобщий любимец Перка.

В детдоме были две лошади, которые использовались для хозяйственных нужд. Был у нас конюх, но он больше занимался конюшней, и на лошадях чаще всего выезжали старшие ребята. На них мы ездили за овощами в соседние колхозы, за сеном в поле, за дровами в лес. За старшими часто увязывалась малышня, и иногда им разрешали поправить. Особо заядлые “лошадники” гоняли лошадей в ночное.

Одна из наших лошадок была смиренная серая кобыла, покорно выполнявшая все команды. Звали мы ее просто — Серая, и с ней у нас не было приключений. Другая наша лошадь — рыжий мерин по кличке Коник — был очень хитрым и упрямым. Когда его запрягали, он надувал живот, и во время езды вся упряжь съезжала набок. Он всегда знал, когда им правит кто-нибудь из малышей. Тогда он мог развернуться и, не слушая детского понукания, упрямо двинуться в сторону дома. А бывало и так: малыш стегнет его кнутом, а тот, вместо того, чтобы двигаться быстрее, начинает лягаться. Вот так отбиваясь, Коник ударил копытом в лоб восьмилетнего Ахмета. К счастью, удар пришелся по касательной, но синяк у Ахмета был большой...

А живого уголка со зверюшками, птичками и рыбками у нас не было: для этого в детдоме не было ни средств, ни помещения. Да и зачем? Всех этих животных мы могли видеть “вживую”.

14. Лыжный плеврит

Зимы на Урале снежные, реки рано покрываются льдом. Но зимним спортом с нами не занимались: не было зимнего инвентаря.

Но плохонький инвентарь у нас все-таки был. Ребята притащили откуда-то пару коньков, один из которых был хоккейный “дутьш”, а второй — “снегурка” с загнутым носом. Очередь на них занимали еще с вечера. И неудивительно, что с такими “разномастными” коньками прилично кататься мы так и не научились.

Были еще старые ободранные лыжи с самодельным креплением и с самодельными палками. Несколько пар этих лыж были нарасхват. Мы пробовали делать лыжи сами. Мы их выстрагивали, а загибать носы у нас не получалось, и лыжи зарывались в снег. Но детдомовская малышня и на них с удовольствием “бродила” в нашем дворе.

На стареньких лыжах мы добирались до ближайшей, довольно высокой горы, наполовину заросшей лесом. Одна ее сторона была крутой, здесь мы катались с небольшого снежного трамплина. Другой ее склон был пологим, можно было долго скатываться, но еще дольше приходилось потом подниматься.

Как это ни удивительно (видимо, по указанию начальства), в детдоме организовали лыжный кросс. Откуда-то срочно привезли много детских лыж, из наших мальчишек и девчонок собрали лыжную колонну. Лыжных костюмов у нас, конечно, не было. Нам, как всегда, выложили кучу одежды из американских подарков и предложили выбрать себе для кросса. Мне понравился тонкий хлопчатый свитерок: в нем я себе казался таким же спортивным, как лыжники на красочном плакате, висевшем у нас в детдоме.

Кросс проходил по гористой местности, и без тренировки многие стали выбиваться из сил. Колонна сильно растянулась, и нам, шедшим впереди, приходилось часто останавливаться, дожидаясь отстающих. На таких остановках я, разгоряченный и взмокший, быстро замерзал: морозный ветер легко продувал мой свитерок.

На следующий день я слег с сильной температурой. Молоденькая фельдшерница, Алла Борисовна, определила, что у меня воспаление легких, и стала усиленно лечить разными лекарствами. Болел я тяжело, температура все поднималась, я находился в каком-то болезненном полусне. Изолятора у нас не было, и я лежал в нашей спальне. Кроме лечившей меня Аллы Борисовны, ко мне часто подходила воспитательница Нина Ивановна. А долгие вечера возле меня просиживала наша бухгалтер Мария Ивановна, молодая женщина лет сорока. Она давно уже хорошо ко мне относилась, даже предлагала меня усыновить, но я не соглашался: где-то ведь были мои родители (в моих документах стояло: “Родители есть, но их адрес неизвестен”).

Через неделю мне стало лучше, я даже мог ходить в столовую. К большому удивлению ребят, есть мне почему-то не хотелось.

Через пару дней я опять свалился с высокой температурой, временами теряя сознание. Поняв, что дело серьезное, меня решили отправить в районную больницу, до которой было километров сорок. Везли меня в санях, завернув в тяжелый овчинный тулуп и накрыв какими-то шубами. Везли осторожно и поэтому довольно долго. Когда мы подъехали к больнице, я очнулся весь мокрый и вдруг почувствовал себя совсем здоровым. Видимо, под тяжелыми шубами и жарким тулупом у меня прошел кризис. В больнице у меня проснулся зверский аппетит, я все время хотел есть и все просил квашеную капусту. Квашеной капусты в больнице, конечно, не было, но одна из медсестер принесла ее из дома. Она все повторяла, что я очень похож на ее недавно утонувшего сына.

Больничные врачи сказали, что я переболел тяжелым плевритом. Когда потом я проходил рентгеновские обследования, я всегда предупреждал, что темные пятна на снимках — это рубцы от перенесенного в детстве плеврита.

В детдом я возвращался на стареньком райкомовском “виллисе”: по просьбе нашего директора меня попутно подвозил секретарь райкома, сильный дядька в кожаном пальто. Стоял солнечный морозный день, и настроение у меня было преотличное. И от хорошей погоды, и от того, что я ехал в самой настоящей автомашине, и от добрых расспросов секретаря райкома. Вдруг переднее колесо нашей машины вырвалось вперед и одиноко покатило вперед по дороге. Шофер с трудом остановил машину, не дав ей перевернуться. Сидевшие в машине замолчали, потом, глядя на все еще катившееся колесо, стали громко хохотать.

В этот момент я понял, что и больница, и вся моя болезнь остались позади, что я здоров, что я еду к себе домой, в мой детский дом.

15. Попик, Бедная Лиза и другие

У многих детдомовцев были прозвища, и каждое было результатом, можно сказать, коллективного творчества. Кто-то случайно называл пацана шутливым словом. Если слово было метким, его начинали повторять. При этом могли уточнять, что-то менять. В окончательном виде оно принималось ребятами, становилось прозвищем и насовсем приклеивалось к пацану.

Шутливое слово могло быть неудачным, и тогда его просто забывали. Такое случалось, когда оно было недостаточно метким или не соответствовало, условно говоря, “статусу” пацана — степени авторитета у ребят.

Последний случай произошел, например, со мной. Обыгрывая мое имя Роберт, один из пацанов в шутку назвал меня обер-лейтенантом. Против меня он ничего не имел, просто это показалось ему остроумным. Я не стал обращать внимание, не полез, как говориться, в бутылку. А ребята не стали повторять эту шутку, и она тихо забылась.

Многие из прозвищ были созвучны с фамилиями ребят. У Ваньки Межнякова, например, было прозвище “Межняк”, у Попова — “Попик”, у Муртазина-Лейзера — “Бедная Лиза”, у Ашихматова — “Шихмат”. Созвучие часто подкреплялось и обликом пацана. “Попик” был худеньким, щуплым мальчиком, и это прозвище к нему подходило. У полутатарина Муртазина-Лейзера было широкое белокожее лицо с нежным девичьим румянцем, и прозвище “Бедная Лиза” (или просто “Лиза”) приклеилось к нему сразу же. А вот крепкий подтянутый пацан, чем-то похожий на артиста Крючкова из кинофильма “Трактористы”, получил прозвище “Танкист”.

Иногда прозвища давались, исходя из жизненной истории и характера пацана. Например, малорослый мальчишка с лицом безбородого старичка имел прозвище “Москвич”. Так его прозвали не только потому, что он грабил в Москве квартиры, но и потому, что это был хитрый и много повидавший пацан. Он был еще и старше нас: обманув медицинскую комиссию, он занизил свой возраст, своим маленьким росточком выдавая себя за мальчика.

А у пацана, которого звали Владимир Ульянов, прозвища не было: все боялись задеть имя “великого вождя коммунистов” Владимира Ульянова-Ленина. Все мы знали, что за такое по головке не погладят.

У девчонок почему-то прозвищ не было, по крайней мере, мы, мальчишки, их не знали.

Попытка избавиться от мальчишеских прозвищ была предпринята только один раз.

Посреди зимы срочно понадобилось вычистить наш туалет — стоявшую во дворе большую деревянную будку, внутри и вокруг которой намерзло много, условно говоря, “льда”. Чистили его обычно ребята по “нарядам вне очереди”. Такие наряды получали многие, поэтому туалет всегда был относительно чистым. На этот раз воспитатели ослабили бдительность, нарушителей было мало, и туалет оказался запущенным. Воспитатель Владимир Петрович, недавно демобилизованный офицер (о нем я говорил), решил эту проблему по-военному просто. В воскресенье, когда мы все находились в спальне, он пришел и громко объявил:

— С сегодняшнего дня применять прозвища строго запрещается! Нарушители получают наряд вне очереди — пойдут чистить туалет!

Он расположился за столом в центре спальни и углубился в какие-то бумаги, прислушиваясь к нашим разговорам.

Сначала мы крепились, обращались друг к другу по именам: Колька, Муратка, Вовка, Робка. Через десять-пятнадцать минут мы стали сбиваться на привычные для нас прозвища:

— Танкист, Попик, айда на гору!

— Лиза, дай ножик карандаш починить!

— Шихмат, где второй конек? Ты последним катался!

Ну, и так далее... Короче говоря, не прошло и часа, как почти вся наша спальня дружно скалывала “лед” в туалете.

Потом никто за прозвищами не следил и мы продолжали общаться по-старому. Главная цель воскресного мероприятия была достигнута — туалет вычистили, а за такое безнадежное дело, как искоренение мальчишеских прозвищ, никто и не думал браться.

И эти две системы обращений продолжали существовать, не смешивая ребячий мир с миром взрослых.

16. Труды наши. Лесной Новый год

Программ по трудовому воспитанию у нас, конечно, не было, но трудом мы занимались постоянно. Для текущих работ у нас существовала система нарядов, как в армии. По очередным нарядам, которые давались по определенному графику, мы дежурили на кухне и в столовой, пилили и кололи дрова для наших печей, делали уборку в спальнях и в коридорах, чистили двор. Внеочередные наряды давались, как водится, за провинности, и получали их обычно мальчишки.

Кроме “нарядных” работ, мы работали на детдомовском огороде, заготавливали сено и дрова, работали в соседних колхозах. На работы за пределами детдома мы выезжали бригадами, которые формировались из старших ребят. Состав бригад определяли воспитатели, но некоторые из ребят (в том числе и я) вызывались добровольно: на таких работах сытней кормили.

Про детдомовские сенокосы я уже рассказывал. Такой же непростой для нас была и заготовка дров. Каждый год в начале лета мы выезжали в лес. На выделенной нам делянке мы, мальчишки 12–14 лет, валили деревья, обрубали сучья, пилили стволы на метровые куски, которые складывали для просушки в поленницы.

Самым трудным было валить деревья: пилы были тяжелые, их часто зажимало, а силенок не хватало. Потом появились лучковые пилы, работать с ними было легче.

Заготовка дров была не только тяжелой, но и опасной работой, однако, как это ни удивительно, серьезных травм у нас не было (только порезы и разные ссадины).

Заготовленных дров, как всегда, не хватало, и несколько раз за зиму приходилось снова отправляться в лес. Зимой работать в лесу тяжелее, чем летом. Особенно осложнялась валка деревьев: их надо было спиливать у основания, чтобы не оставалось высоких пней. В уральских лесах снега глубокие, и, чтобы добраться до основания дерева, иногда приходилось глубоко закапываться в снег. В снежной яме и пилить было труднее.

В детдоме был свой огород, на котором выращивали только картофель. В первый год под огород нам выделили целину, и при ее вспашке просто переворачивали плотный дерн. Копать в нем лунки под картошку было трудно, особенно нашими лопатами, поэтому мы просто подсовывали картошку под дерновые пласты. Мы, честно говоря, думали, что картошка не вырастет, а уродился такой ее урожай, какого никогда потом у нас не было. В последующие годы посадку и уборку картошки мы производили под конный плуг, что было намного легче.

В соседних колхозах мы работали на зерновых токах, собирали в поле горох, дергали кормовой турнепс и “букву”, о которой я уже писал. А один раз мы трудились на болоте — собирали мох, которым конопатят деревянные срубы.

Срезанную пластину мха мы нанизывали на тонкий прут с сучком внизу. Нанизывали до тех пор, пока не собирался столбик мха. Брели следующий прут, и процедура повторялась. Пруты со столбиками мха мы выносили к дороге и там грузили на телегу.

В “господском доме” у нас организовали столярную мастерскую. Старый мастер чинил там нашу мебель и понемногу изготавливал новую. Нам, нескольким мальчишкам, предложили поработать в мастерской и мы, конечно, согласились. Мастер учил нас столярному делу, и через какое-то время мы уже сами делали табуретки и стулья. А однажды мы изготовили вполне приличный деревянный диван.

Выполняли мы и плотницкие работы: вокруг нашей территории поставили забор (из жердей, о которых я писал), участвовали в строительстве нашей бани. Сруб для нее заготовили в лесу приглашенные плотники. К нам его привезли в разобранном виде и здесь снова собрали. Мы помогали ставить перегородки, сооружать полки, стелить полы. Ну а полностью нам доверили только засыпку чердака шлаком.

Поработали мы и штукатурками. Второй этаж нашего здания представлял собой неоштукатуренный сосновый сруб. Чтобы утеплить, решили его оштукатурить изнутри. Эту работу директор заказал своему родственнику, а в помощь ему собрали бригаду ребят. Несколько недель мы прибывали дранку, готовили растворы, на отдельных участках

штукатурили. Нам даже немного заплатили. А родственник директора, как рассказывали, отхватил за эту работу хороший куш.

Каждый год и всегда в конце декабря наш кладовщик отправлялся в Свердловск за товарами. Оттуда он привозил детскую одежду, обувь, одеяла, ткани и много еще из того, что необходимо детдому на целый год. Товара было много, и в помощь он брал с собой ребят. Раз два ездил с ним и я.

В последнюю из поездок мы возвращались на полуторке. Был поздний вечер 31 декабря 1947 года. Кладовщик сидел в кабине рядом с шофером, а мы, трое ребят, находились в кузове. Проехать надо было двести с лишним километров, и, чтобы не замерзнуть, мы зарылись в наваленную одежду и накрылись одеялами. Нам оставалось километров десять, когда дорога пошла по густому лесу, по обе ее стороны высились засыпанные снегом высокие ели. Высунувшись из кабины, кладовщик громко спросил, все ли у нас в порядке, и добавил, что до Нового года осталось минут пятнадцать и что скоро мы приедем. Мы оживились, стали гадать, какую у нас поставили елку, как ее нарядили.

Полуторка вдруг остановилась, освещавшие дорогу фары погасли. Оказалось, кончился бензин. Кладовщик с шофером, переругиваясь, отправились за помощью в соседнюю деревню. Мы остались одни. Наступила тишина и было жутковато. Прошло какое-то время, мы высунулись из наших нор и огляделись: стояла ясная морозная ночь, при свете луны искрился снег и над высокими елями ярко мерцали бесчисленные звезды. Мы повеселели.

В этой сказочной обстановке, лежа в кузове, мы встретили Новый 1948 год!

17. И “Артек”, и дебил

В детском доме были дети разных национальностей: русские, украинцы, татары, башкиры, мордва, удмурты, а из немцев я был один. Но дискриминацию как немец я не чувствовал. Многие просто не знали, что я немец, а которые знали, не принимали всерьез: я был такой же, как все, а немцами для них были те, которые воевали против нас на фронте (о том, что есть советские, или российские, немцы, здесь вообще не знали: в тот район Урала их почему-то не выслали). Единственно, что их удивляло, — мое имя и моя фамилия:

— И Роберт, и Ридель, где у тебя имя, где фамилия? Не разберешь!

Не последнюю роль здесь сыграло и то, что среди ребят у меня был определенный авторитет. Складывался он еще тогда, когда я, только что приехавший новичок, разучивал с ребятами песни, пересказывал им книги. Прибавил мне авторитета и случай в столовой, который произошел тогда же. Мы стояли в очереди к кухонной раздаче, и один из

пацанов грубо оттолкнул меня в сторону. Я остервенело кинулся на него, сбил с ног и стал дубасить, пока меня не остановила воспитательница. Про эту драку почему-то еще долго говорили, она обросла разными подробностями, и, возможно, поэтому никто со мной больше не задирался. А когда я стал “гармонистом”, мой мальчишеский авторитет вырос еще больше.

Учился я охотно и считался лучшим учеником. За хорошую успеваемость нас иногда (обычно по праздникам) награждали ценными подарками — новыми ботинками, сапогами, а однажды мне вручили даже костюм. После торжественного вручения подарки забирал стоявший за сценой кладовщик (“для хранения”). Больше мы их не видели...

Как-то меня и еще двоих ребят наградили поездкой на зимние каникулы в Свердловск (теперешний Екатеринбург). Нас сопровождал последний наш директор Степан Разумович Белобородов. Билетов на поезд, как всегда, не было, и все двести километров до Свердловска (а потом и обратно) мы ехали на подножках или на площадках вагонов еще довоенной конструкции. При этом мы проезжали несколько туннелей...

В Свердловске нас сводили в драмтеатр на героическую пьесу про военных моряков. В музыкальном театре нас поразила веселая и яркая оперетта. В красочно оформленном Дворце пионеров (бывшем дворце уральского заводчика Демидова) мы участвовали в новогоднем празднике вокруг огромной нарядной елки. Нам вручили подарки с простыми конфетами и даже с одним мандарином. Домой мы вернулись, как говорится, до краев наполненные впечатлениями.

На общем собрании детдома и школы, посвященном завершению учебного года, наш директор торжественно объявил, что за отличную учебу воспитанник детского дома ученик теперь уже седьмого класса Роберт Ридель награждается путевкой в пионерский лагерь “Артек”. Такой же путевкой наградили дочь завуча школы. Были громкие аплодисменты, нас поздравляли. Я уже представлял, как побываю в солнечном Крыму, как увижу Черное море, о котором так много читал.

Через неделю меня вызвали в воспитательскую. Там уже находился директор детдома, несколько воспитателей и наша медсестра. Мне предложили раздеться до трусов, и медсестра стала придирчиво осматривать меня со всех сторон. Наконец она нашла у меня несколько ссадин и громко сказала, что с такими ссадинами я не могу ехать в “Артек”, меня там не примут. Все дружно согласилось с ней. Такие ссадины можно было найти у любого детдомовца, и я сразу понял, что это повод отказать мне в поездке в “Артек”. Ясно понимая разыгранную комедию, мне стало неловко за сидящих передо мной взрослых. Я поспешно оделся и, не глядя на них, вышел из воспитательской.

В пустом коридоре подступила горечь:

— Это все из-за того, что я немец, просто они не говорят в открытую. Выходит, что я не такой, как все, что я хуже всех и что это будет всегда!

Мелькнула мысль, которая приходила ко мне не раз: надо сбежать, взять другую фамилию, и никто не узнает, кто я и откуда. Но тогда я не увижу родителей, а о встрече с ними, о жизни в родной семье, я мечтал все эти годы...

А с путевкой в “Артек” было так: наши простые и честные воспитатели присудили ее мне, считая, что я ее заслужил, а где-то наверху меня не пропустили как немца.

А вместо меня в “Артек” поехал другой наш детдомовец — башкир Валерий Галин, далеко не лучший наш ученик. Он сам мне говорил, что это не настоящее его имя, настоящее он сменил, как это делали многие беспризорники. Но он не только сменил имя, но и сильно занизил свой возраст: рядом с ним мы были совсем детьми. Руководство детдома, видно, догадывалось, что он старше нас: к нему благоволили, на какое-то время даже устроили на платную работу — воспитателем одной из младших групп. А у меня с ним всегда были непростые отношения, особенно после истории с Ваней Межняковым, Межняком. У Галина был с ним конфликт, они даже подрались в лесу, и Галин сделал все, чтобы Межняка отправили в ФЗО, не дав доучиться в школе.

Межняк был простым и добрым пацаном, и когда мы об этом (уже потом) узнали, ребята невзлюбили Галина, хотя никто не хотел с ним связываться.

На внутрidetдомовской жизни, на отношениях ребят между собой я подробно не останавливаюсь. Только скажу, что ничего экстраординарного у нас не происходило, ситуация была как в обычной школе. Но конфликты конечно были. Еще в детдоме я прочитал книгу “Старшины Вильбайской школы”. В ней описывалась жизнь закрытой школы-интерната конца XIX века. И я был потрясен, насколько ситуация в этой школе совпадала с ситуацией, сложившейся у нас в детдоме. Да и главного героя, похожего, как мне казалось, на меня, звали, насколько я помню, Риддель... (Автора я тогда не запомнил и только недавно узнал, что его зовут Тальбот Бейнс Рид и по-английски книга называется “The Captains of Willoughby School”.)

* * *

Успехи в учебе приносили мне не только приятные и неприятные подарки, однажды они спасли меня от отправки в ФЗО.

Летом 1947 года мы были на сенокосе, когда в Кленовское приехал представитель военкомата для мобилизации подростков в ФЗО. Пришел он и в детский дом, просмотрел наши списки и всех, кому уже исполнилось четырнадцать лет, наметил для отправки в ФЗО. Среди таких “переростков” оказался и я. По своему возрасту я уже должен был закончить семь классов, но я закончил только шесть, так как один учебный год пропустил в Сибири. Если бы меня взяли в ФЗО, я бы

лишился возможности закончить семилетку и, соответственно, учиться дальше. А я собирался поступать в техникум.

Список воспитанников, отобранных в школу ФЗО, обсуждался на детдомовском педсовете с участием представителя военкомата. Когда очередь дошла до меня, ему сказали, что это очень слабый ученик, что он не совсем нормальный и, вообще, debil, умственно отсталый. От “дебила” он, конечно, отказался.

Таким необычным способом меня оставили в детдоме. Воспитатели, идя на такое, преследовали и свои цели: им был нужен сильный ученик, так как успеваемость была главным показателем их работы.

Обо всем этом я узнал только осенью: Василий Сидорович рассказал мне под очень большим секретом.

Первого сентября я пошел в седьмой класс и следующей весной закончил семилетку. В тот же год, сдав вступительные экзамены, я поступил в техникум. Но это уже другая история.

18. Техникум на одну неделю

Поступать я решил в Свердловский горно-металлургический техникум. Но это было непростым делом: мне предстояло самому добираться до Свердловска (конечно, без билета), на время экзаменов надо найти частную квартиру, да и сдавать приходилось целых четыре экзамена. Но все это удалось преодолеть: до Свердловска я благополучно доехал на вагонных подножках, на квартиру я устроился у родственников нашего директора и вступительные экзамены сдал на “хорошо” и “отлично”, что для мальчишки, приехавшего из деревенской глубинки, было совсем даже неплохо.

Возле канцелярии вывесили списки поступивших. Я нашел свою фамилию и подумал:

— Ну, все! Теперь я студент, буду учиться и стану горным электромехаником.

Я уже собирался домой, но оказалось, что это не “все”. У директора техникума было правило — перед окончательным зачислением в студенты он с каждым проводил личное собеседование. На собеседование приглашали группами по специальности. Подошла очередь и нашей группы.

Мы сидели в приемной, и нас по одному вызывали к директору. Предстоящее собеседование меня не очень-то волновало: экзамены я сдал хорошо, в техникум меня приняли, а какие могут ко мне вопросы? Я ведь детдомовец!

Меня вызвали последним. Войдя в кабинет, я увидел крупного мужчину, сидевшего за большим письменным столом и читавшего какие-то бумаги. После долгого молчания он вдруг спросил:

— Ты что, немец?

— Да.

Он в упор посмотрел на меня и вдруг закричал:

— Ты что, не знаешь, что Свердловск закрытый город? Немцев мы принимать не будем!

Пришлось долго сидеть в приемной, ожидая свои документы. Из кабинета вышел и куда-то направился директор. С удивлением я увидел, что он был небольшого роста, почти карлик: при крупном телосложении его ноги были очень короткими. То ли это дефект от рождения, то ли последствие несчастного случая. Вид этого “могучего карлика” показался мне зловещим.

Получив документы, я вышел на улицу в полной растерянности. Что теперь делать? В детдом вернуться я не могу по возрасту, родных, к кому я мог бы уехать, у меня не было, где мои родители, да и живы ли они, я не знал. И я решил поехать в детдом, будучи уверен, что там меня не оставят. Какое-то время у нас на чердаке жил бывший наш детдомовец, откуда-то сбежавший. В крайнем случае, я там тоже проживу, пока не определюсь.

Приехав в детдом, я все рассказал директору Степану Разумовичу. Он очень расстроился и сказал, что так он не оставит. На следующий день мы с ним отправились в Бисертъ. Обошли несколько районных организаций, в которых заручились ходатайствами и лестными для меня характеристиками. Правда, в одной организации отказались верить, что я немец, посчитав это дурной шуткой. Но, поудивлявшись, нужную бумагу дали.

Подготовив обширное письмо (что там было, не знаю) и приложив к нему бумаги из района, Степан Разумович поехал со мной в Свердловск. У здания техникума он почему-то оставил меня на улице, а сам прошел к директору. Его долго не было. Когда он вышел, он коротко сказал:

— Тебя приняли.

И мы отправились домой, в наш детский дом, где мне предстояло готовиться к переезду в Свердловск.

В Кленовском детском доме я был первым воспитанником, которого отправляли на учебу, и одеть меня старались как можно лучше — выдали дешевенький, но новый костюм, новые ботинки, рубашки. Подобрали и зимнюю одежду, только до зимы оставили на складе. Еще раньше я сделал себе деревянный чемодан, который выкрасил в светло-зеленую

краску, какая нашлась. В него я сложил свои немудреные вещи — рубашку, смену белья, пару книжек и немного продуктов.

В конце августа 1948 года, взяв свой чемодан и получив немного денег, я оставил детский дом и отправился в Свердловск. Я уже писал, что до Свердловска мы всегда добирались на подножках вагонов или, если повезет, на межвагонных площадках. Когда проходил слух, что идут контролеры, мы по лестницам залезали на крыши вагонов. Контролеры проходили, и мы возвращались на свои места. Но в этой поездке меня задержали: спрятаться на крыше мне помешал мой чемодан. Контролер завел меня в вагон и потребовал заплатить штраф. Напрасно я объяснял, что я из детдома, что еду учиться. Контролер был неумолим и пригрозил сдать в милицию на ближайшей станции. Такая перспектива меня не устраивала, пришлось отдать ему половину моих денег. Единственно, что было в этом хорошего, — он не высадил меня, и до самого Свердловска я ехал почти с комфортом — в тамбуре вагона.

Мне дали место в студенческом общежитии, и начались мои занятия в техникуме. Большинство учебников я получил в библиотеке, но несколько книг пришлось покупать, что еще сократило мой “бюджет”.

Однажды я решил посмотреть город и вышел к водохранилищу, которое находилось почти в центре города. У берега стояла лодка с двумя мальчишками на борту.

— Пацан, хочешь покататься? — спросил один из них.

Я согласился. Мы отплыли довольно далеко от берега, и тот, который пригласил меня, вдруг сказал:

— Пацан, дай трояк, а то лодку перевернем!

И они стали ее раскачивать. Я стал говорить, что денег у меня нет, что я детдомовец, но они только смеялись:

— Давай, куркуль, не жмись!

В своей одежде я действительно выглядел богатым куркулем. Лодка все больше раскачивалась и уже черпала воду. Я понимал, что в одежде я до берега не доплыву, а для пацанов это не проблема: они были трусах. Пришлось отдать им три рубля.

И были еще расходы. Преподаватель по черчению, седой нагловатый франт в костюме с бабочкой, на первом занятии поучал нас, мальчишек 14–15 лет:

— Запомните на всю жизнь: жену и готовальню никому не доверяй!

Он показал нам заграничные карандаши “кох-и-нор” и сказал, что без таких карандашей чертить мы не научимся, и тут же предложил их

купить. Никто не осмелился отказаться, и на последние деньги мне пришлось тоже купить пару карандашей.

Заканчивалась первая неделя занятий, а деньги мои уже кончились. Стипендию я мог получить только в двадцатых числах, но до нее надо было еще дожить. Надо ехать в детдом, там обязательно помогут.

Поезда, идущего в нашу сторону, я дождался только к вечеру. Милиция гоняла нас, и заскочить на подножку я смог уже на ходу. Потом я перебрался на крышу вагона. В дороге сильно раскачивало, пришлось крепко держаться за дефлектор (вентиляционную трубу). После Дружинино совсем стемнело. С крыши вагона я видел ритмично загоравшиеся огни автоблокировки — красный, желтый, зеленый, потом снова красный, и так далее. Лежа на крыше и любуясь этими огнями, до Кленовского разъезда я доехал поздно вечером.

Еще километра три надо было пройти пешком, и в детдом я пришел уже ночью. Когда я появился в нашей спальне, ребята повскакивали и кинулись ко мне:

— Робка, у тебя отец нашелся!

Они рассказали, что от отца пришло какое-то письмо, его читали в воспитательской, возможно, оно и теперь там. Воспитательская, расположенная на втором этаже, была, конечно, заперта. По углу нашего здания я забрался на второй этаж (мы проделывали это часто) и через окно влез в воспитательскую. Но там я ничего не нашел и, несмотря на ночное время, отправился на квартиру к Степану Разумовичу. Он не стал выговаривать за позднее время и показал письмо из какой-то комендатуры. В нем стояло, что спецпереселенец Иван Давидович Ридель, проживающий в городе Темир-Тау Карагандинской области, разыскивает сына Роберта Ивановича Риделя. Я не столько обрадовался, сколько почувствовал большое облегчение: мне вспомнились мои многолетние мытарства, моя теперешняя неприкаянность и никомуненужность. И я сказал Степану Разумовичу:

— Не отвечайте на письмо, я сам поеду.

Пришлось съездить в техникум за документами. Завуч техникума, просмотрев, видимо, мои оценки, стал уговаривать не бросать учебу, даже предложил отпуск для поездки к отцу, благо, что студенты в это время были на сельхозработах. Но я уперся. Сказалось, возможно, и то, что здесь я испытал незаслуженное унижение, когда меня, мальчишку пятнадцати лет, выставили за дверь только за то, что я не тем уродился.

Так я ушел из Свердловского горно-металлургического техникума, где, сдав вступительные экзамены, проучился одну неделю.

19. В Казахстан

Ехать-то я собирался, а как это осуществить, не знал, главное — на дорогу не было денег. Детский дом не мог мне их дать: здесь я уже не числился. Выход нашел Степан Разумович: он дал мне бумагу, которую я подписал задним числом. В ней стояло, что в августе, когда я уезжал в техникум, я получил не один, как было фактически, а два костюма. Второй костюм он взял себе, а за него дал мне денег. В детдомовской кухне мне наварили мяса и залили его жиром в литровых банках, напекли сухой выпечки.

С билетом на поезд тоже было непросто. Начальник Кленовского разъезда хоть и с трудом, но забронировал место на проходящий поезд. Но было неизвестно, куда выписывать билет. По железнодорожным справочникам и по карте, висевшей в кабинете начальника, в Карагандинской области не было города Темир-Тау. Начальник предложил выписать билет до города Темир-Тау, который находился в Кемеровской области.

— Возможно, в письме перепутали области, — сказал он.

Но я не согласился:

— Дайте мне билет до Караганды, а с моими детдомовскими документами меня любая милиция доставит к отцу.

Вручая мне билет, начальник разъезда предупредил, что в Петропавловске я должен буду сделать пересадку.

На разъезде меня провожал Степан Разумович. Подошел поезд, Степан Разумович помог мне с моим зеленым чемоданом забраться в вагон, и поезд сразу же тронулся.

Я прошел в вагон и занял место, указанное проводником. За окнами проплывали знакомые места, покрытые лесом горы. Поезд набирал ходу, вагон слегка раскачивало, мерно стучали колеса. И только теперь я почувствовал, что уезжаю насовсем, что детдомовская жизнь и все, что с ней было связано, и плохое, и хорошее, остались позади. И было неизвестно, что ждет меня там, куда я еду.

На подъезде к Свердловску я случайно узнал, что поезд, на котором мы едем, не проходит через Петропавловск: он идет по северной ветке через Тюмень (начальник разъезда ошибся и дал мне билет не на тот поезд). Пришлось поспешно сойти. На вокзале было много народу, люди часами, а то и сутками стояли в очередях у касс. Но мне удалось в тот же день получить место на поезд, проходящий через Петропавловск.

На вокзале Петропавловска народу было еще больше. В одной из длинных очередей я познакомился с двумя парнями, которые ехали в Балхаш. Они были старше меня, да и вид их был довольно подозрительный, но меня это не пугало: взять у меня было нечего, а в компании дорога проще. Когда один из нас отлучался (днем — сходить поест, сбегать в справочную или в туалет, а ночью — немного поспать),

остальные караулили очередь. Только на другой день мы получили места на нужный поезд.

В Караганду мы ехали без особых приключений. Меня волновал вопрос: существует ли там, куда я еду, город Темир-Тау? Уже недалеко от Караганды я узнал, что такой город есть (год назад так называли поселок Самаркандский) и что мне нужно сходить на разъезде Солонички.

Поздно вечером я сошел на разъезде Солонички. Вместе со мной сошли молодой парень и несколько больших семей. Эти смуглые черноволосые люди показались мне цыганами, но парень-попутчик (он оказался местным) сказал, что это чеченцы или ингуши, высланные с Кавказа во время войны. С ними был вербовщик, откуда-то их перевозивший в Темир-Тау.

На разъезде выяснилось, что железную дорогу на Темир-Тау недавно закончили реконструировать, но еще не сдали в эксплуатацию, и изредка туда ходят товарные поезда, и то с малой скоростью.

Ночь мы провели в маленьком здании разъезда. Утром вербовщик проявил бурную деятельность, и вскорости его горцы забирались на товарный поезд, отправлявшийся в Темир-Тау. Большая их часть расположилась в крытом вагоне с каким-то грузом, а остальные — на открытой платформе с шамотным кирпичом. Мы с парнем тоже пристроились на этой платформе.

Здесь я впервые услышал (не по радио или в кино, а “вживую”) многоголосное пение горцев, и не каких-нибудь артистов, а простых людей. Их красивая печальная песня, доносившаяся из соседнего вагона, так отвечала моему тревожному настроению.

Поезд шел очень медленно с остановками в открытом поле. До Темир-Тау, до которого было километров тридцать, мы добирались несколько часов.

С обеих сторон лежала сухая степь, простиравшаяся до самого горизонта. Уже на подъезде к Темир-Тау показалось огромное водохранилище. Пошли большие огороды, на некоторых работали пленные японцы в желтовато-зеленой форме. Появились какие-то бараки, заводские постройки, и поезд прибыл на конечную станцию. На вагончике, который стоял вместо вокзала, было написано “Темир-Тау”.

До центра пришлось идти пешком, и до него я добрался только к концу дня. Спрашивая у прохожих милицию, я дошел до старой части города, состоявшей из сплошного ряда низких землянок. Для меня, жившего в Сибири и на Урале, где в любой деревне стояли высокие деревянные дома, все это было непривычным и в наступавших сумерках казалось враждебным. К тому же меня несколько раз направляли в противоположные стороны, так как городская милиция два дня назад переехала на новое место и не всякий об этом знал. К зданию милиции я подошел, когда совсем стемнело.

Начальник милиции просмотрел мои документы и сказал, что мне надо не сюда, а в какую-то “комендатуру”. Он долго объяснял, как ее найти, и для ориентира посоветовал держаться старой узкоколейки. В полной темноте (освещения не было) я углубился по этой узкоколейке в район землянок и понял, что, если я ее оставлю, то совсем потеряюсь. По ней же я вернулся к милиции и расположился на ночь на скамейке, благо, что погода была теплая. Скамейка стояла недалеко от входа в милицию, и было видно, как входят и выходят милиционеры, какие-то люди в штатском. Подошел дежурный и сказал, что здесь нельзя находиться. Но уходить мне было некуда. Видимо, обо мне доложили начальнику, потому что он позвал меня в кабинет. Узнав, что я не нашел комендатуру, он предложил на ночь стоявший в углу пустой стол, которому еще не нашлось, видно, места в новом здании.

Заперев мои бумаги в сейф, он ушел, а я улегся на стол и проспал на нем до утра.

Когда начальник милиции утром пришел, я уже не спал. Он спросил, откуда я, где мне приходилось быть. Потом он куда-то позвонил, и вскорости пришел высокий человек в военной форме. Это был Габуренко, комендант местной спецкомендатуры.

— Ты сын Ивана Давидовича? Пойдем, я отведу тебя к нему.

И он повел меня в артель “Заря”, где, как он сказал, работает мой отец. Мы вошли в большой двор, в глубине которого находился колбасный цех. Войдя в цех, Габуренко громко сказал:

— Иван Давидович, я привел тебе сына!

Тут я увидел отца. Он показался мне меньше ростом, очень худым, с сильной проседью. Мы обнялись.

Подошли работавшие в цехе женщины, о чем-то спрашивали. Отец выглядел несколько растерянным: он ждал ответа на запрос комендатуры, а я явился сам.

Он попросил меня подождать. Открыли коптильню, и из нее стали выкатывать деревянные стеллажи с готовым сервелатом. Работая, женщины жалостливо поглядывали на меня, охали, разговаривая между собой. Грязный и измятый за долгую дорогу, я действительно выглядел не ахти. Я сидел и думал, что хорошо бы, чтобы и мама была здесь в Темир-Тау. Но отец ничего не говорил и помогал выкатывать стеллажи. Одна из женщин предложила мне палку еще горячего сервелата. Колбаса была такой душистой и вкусной, а я был такой голодный, что я не заметил, как съел всю палку. В цеху еще долго вспоминали, каким голодным приехал сын Ивана Давидовича. Но от свежего, еще горячего сервелата не отказался бы, я думаю, и менее голодный человек.

По дороге к себе домой отец как-то мялся, говорил, что с мамой у него еще раньше были проблемы, что, где она сейчас, он не знает и что у него

живет одна женщина. Мы пришли на квартиру, которую он снимал в частном доме, и там он познакомил меня с тетей Марусей, ставшей теперь моей мачехой.

20. Темир-Тау — Железная Гора

Трудармейские лагеря закрыли только в 1947 году, через два года после окончания войны, и российским немцам предложили на выбор: или они остаются там, где находятся их лагеря, и туда же приезжают их семьи, или они возвращаются в места, куда их выслали. Остаться на лесоразработках отец не захотел, а возвращаться в Красноярский край ему было не к кому: мама, с которой уже произошел разрыв, находилась где-то в Бурят-Монголии, а где находился я, он не знал. И ему разрешили ехать в Казахстан, в молодой город Темир-Тау, где нужны были рабочие руки.

В переводе с казахского “Темир-Тау” означает железная гора. Название оправдывалось тем, что в городе действовал сталелитейный завод и намечалось строительство крупного металлургического комбината. Железных гор там, конечно, не было, но были горы, похожие на уральские. Ребятам в детдом я потом писал: “Здесь такие же горы, как у нас, только лысые”.

Молодой город быстро рос: строились промышленные объекты, жилые кварталы. Как всегда на таких стройках, в городе было несколько лагерей ГУЛАГа, среди которых был лагерь для японских военнопленных, который вскоре закрыли.

Приехав в Темир-Тау и встав на учет в спецкомендатуре, отец пошел работать путевым рабочим. В спецкомендатуре узнали, что он имеет опыт работы по изготовлению колбас (в двадцатые годы в Ташкенте он действительно работал подмастерьем в колбасной артели). Его вызвали и сказали, что ему поручается организовать колбасное производство. Он активно взялся: в одном из помещений тогдашней артели “Заря” сложил печь-коптильню, подобрал оборудование, и колбасный цех заработал. Колбасу, которую выпускал этот цех, в городе знали: она всегда была лучше привозной. И когда намечались важные мероприятия (партийные конференции, торжественные собрания), городское начальство, знавшее отца как превосходного мастера, обращалось к нему, и он несколько ночей оставался в цеху и сам изготавливал колбасные деликатесы для начальственных buffets.

Тетя Маруся, моя мачеха, приехала сюда тоже в 1947 году, спасаясь от голода на Украине. Это была крупная грубоватая женщина лет тридцати, говорившая на смеси украинских и русских слов. Она не работала, занималась домашним хозяйством: они держали пару свиней, а потом завели и корову.

Для меня здесь многое было непривычным, особенно в первое время. До этого я жил в ребячьих коллективах, рядом были товарищи, вместе с которыми мы переживали все наши мальчишеские события. Здесь я пошел в школу, в восьмой класс, но мои одноклассники жили в другой части города, у них была своя компания, а я на нашей окраине оказался один. И мои домашние, в отличие от детдомовских воспитателей, были далеки от моих школьных дел, многое, что меня интересовало, о чем я читал в книгах или узнавал от учителей, было им непонятно.

Жизнь моя стала довольно однообразной. В школу я уходил в обед, во вторую смену. С утра шел в центр города за хлебом, где подолгу выстаивал в очередях. Вернувшись, я садился за уроки. Некоторых учебников у меня не было, и иногда приходилось идти к ребятам через весь город.

Времени на домашние задания часто не хватало, но я как-то справлялся, и проблем с успеваемостью у меня не было. А вечерами я читал книги, которые брал в библиотеке клуба строителей, расположенного недалеко от нас.

Вся эта моя возня с книгами и тетрадками раздражала тетю Марусю.

— Такой лоб, и не работает, — повторяла она. — Все романами занимается (с ударением на “о”)!

Но отец, сам малограмотный, научившийся кое-как писать уже взрослым, считал, что я должен получить образование, и не обращал внимание на ее ворчание.

Семейная жизнь у них была какой-то странной. У каждого из них был свой шкаф, который они тщательно запирали друг от друга. Отец никогда не посвящал ее в свои дела, не говорил о чем-нибудь серьезном: их разговоры касались только домашних дел. Когда отец приходил с работы, она так подробно перечисляла сделанное ею за день, что иногда мне хотелось сказать:

— Не забудьте добавить, что один раз переставили табуретку!

Так прошло три года. Я закончил восьмой, потом девятый класс и уже учился в десятом классе. За эти годы наша школа № 1 так и не стала для меня “родной”. С одноклассниками у меня были ровные отношения, но в школе тон задавали ученики из “богатеньких”, как мы считали, семей. Это были отпрыски разного уровня “начальства”. Держались они всегда вместе, свысока, как мне казалось, поглядывая на остальных. Одевались они лучше нас, у некоторых были даже костюмы. Я из-за этого особенно переживал, так как ходил в фланелевых шароварах и в такой же куртке. Все эти сынки казались мне “лощеными”, и возле них я чувствовал себя неуютно.

Возможно, что все это я ощущал слишком обостренно, возможно, что это был подростковый максимализм. Как бы там ни было, но в школьной

жизни я практически не участвовал и после уроков старался поскорее уйти домой.

А учиться мне нравилось. Во многом это было заслугой наших учителей, разными путями заброшенных в эти края. Интеллигентная, тонкая по натуре Нина Николаевна увлеченно вела у нас уроки литературы. Благодаря ей многие из нас знали и любили литературу. Даниил Борисович, энергичный кореец, как-то по своему учил нас математике. Вот один из его приемов: на обычном уроке он вдруг объявлял блиц-контрольную без выставления оценок. Такой “блиц” превращался в соревнование, где каждый старался опередить другого. Завуч школы Валентина Александровна так обстоятельно вела уроки по химии, что химия стала моим любимым предметом, и я мечтал стать химиком. Но особенно мы любили Георгия Автономовича, учителя истории и географии, фронтовика со шрамами на лице. Он уважительно относился к ученикам, и на его уроках всегда было интересно. Иногда вместо опроса он проводил что-то вроде международной конференции, выясняя наше мнение о причинах какого-нибудь события столетней давности. И быть не в курсе было просто стыдно. На уроках он размышлял вместе с нами, делился своими мыслями. А некоторые из них меня поражали. Он, например, говорил, что массовое изгнание мусульман-арабов, в основном, ремесленников, было началом заката процветающей Испании. Или такое: после Первой мировой войны промышленность Германии быстро развивалась потому, что была разрушена и восстанавливалась по более современным технологиям.

Спустя годы я с удивлением узнал, что он не был ни историком, ни географом, а был учителем химии.

А дома все оставалось по-прежнему. За эти годы отец пару раз оставался без работы (закрывали организованные им производства по указанию из области). В эти короткие периоды отец посылал меня на базар продать что-нибудь из его одежды (пальто, сапоги и т. п.). И еще — за эти годы у отца с тетей Марусей было несколько крупных скандалов, во время которых она, к моей радости, уходила к своей сестре, тоже приехавшей в Темир-Тау. Но, к моему сожалению, она каждый раз возвращалась.

Глухая неприязнь между мною и мачехой постоянно давила меня, и я не мог дожждаться часа, когда я смогу уехать из этого дома. А уехать я мечтал в институт, я собирался учиться дальше.

21. Я — горняк

Школу я окончил (и вполне прилично) в 1951 году. К выпускному вечеру мы готовились обстоятельно, даже нашли средства для праздничного стола: сдали целый грузовик металлолома, собранного на территории одного из заводов. Выпускной вечер прошел торжественно и весело, много танцевали, пели. Особенно дружно распевались дорожные и студенческие песни.

Одноклассники вскоре разъехались по городам поступать в институты, в университеты. Школьная подготовка у нас была неплохая, и почти все они учились потом в Москве, в Новосибирске, в Новокузнецке, в других городах.

Только мы, трое немцев, не смогли уехать: нас не выпустила спецкомендатура. Нам сказали, что максимум, на что мы можем рассчитывать, это поехать в Караганду или еще куда-нибудь в пределах Карагандинской области, и то, если разрешит областное МВД.

В Караганде был только один институт — медицинский. Разрешат нам туда поступать или нет, мы не знали, но желания стать медиками у нас не было (“всю жизнь в больнице”). Для нас оставались техникумы, для которых достаточно было семилетней школы: получается, что три последних года мы учились напрасно.

Не послушавшись коменданта, мы послали документы за пределы Карагандинской области — в горно-металлургический техникум города Щучинск (в названии специальности нам понравились слова “цветные металлы”). Наши документы скоро вернулись с припиской, что мы не приложили аттестаты зрелости, хотя эти аттестаты лежали тут же в конвертах. Таким способом нам просто отказывали.

Мы сделали вторую попытку — послали документы в Караганду, в горный техникум. Там документы приняли: видимо, сочли, что таким, как мы, работать на шахтах можно. И здесь нам повезло: нас приняли сразу на третий курс, в одну из только что организованных групп “десятиклассников” (для имевших, как минимум, десятиклассное образование). На шахтах остро не хватало специалистов, а в Караганде и в области скопилось много репрессированной молодежи, путь в институты для которой был закрыт. Группы “десятиклассников” и были созданы для того, чтобы из этой молодежи ускоренно готовить шахтных специалистов.

Шахтерский город Караганда возник в начале тридцатых годов одновременно со строительством первых угольных шахт. Здесь были поселки Федоровка, Михайловка, Тихоновка, Майкудук, в начале века основанные крестьянами, приехавшими из Центральной России в поисках лучших земель. Поселки оказались в городской черте и стали городскими районами. Нужны были рабочие руки, и возникли лагеря ГУЛАГа, эшелонами стали привозить “раскулаченных” крестьян.

Одновременно с шахтами строились, в основном, бараки и типовые землянки. Во время войны шахты строились особенно бурно, и сюда нагнали много народу, больше всего спецпереселенцев: сначала советских немцев, а потом кавказцев. Вокруг шахт стихийно возникали горняцкие поселки с кривыми улочками и грязными землянками. Эти поселки, вместе с многочисленными шахтами и застройками тридцатых годов, образовали основную часть тогдашней Караганды — Старый город.

В стороне от Старого города, как остров в сухой степи, расположился Новый город с прямыми улицами и многоэтажными домами. К нашему приезду в нем было десятка полтора зданий. Здесь же находилось несколько учебных заведений и среди них горный техникум.

Карагандинский горный техникум считался одним из лучших в угольной отрасли. Здесь были хорошие аудитории, неплохо оборудованные лаборатории и учебные мастерские. Преподавателями были профессора и доценты из немцев-спецпереселенцев и политических ссыльных. Производственную практику студенты проходили на ближайших шахтах.

На шахтах выпускников техникума ценили и часто брали на работу охотнее, чем выпускников каких-нибудь столичных институтов.

Я стал студентом-горняком. Группа, куда меня зачислили, называлась РУМ — 51Д, что означало — “разработка угольных месторождений, 1951 год, десятиклассники”. Состав группы был очень разный. Были вчерашние школьники (вроде меня), и были тридцатилетние, уже пожившие, как мы считали, люди, когда-то учившиеся в институтах. И большую часть группы составляли немцы-спецпереселенцы.

Студенческое общежитие, где я стал жить, размещалось в большом трехэтажном здании. Оно было неплохо оборудовано, чистоту и порядок в нем поддерживал специальный персонал. Общежитие считалось лучшим в городе, что объяснялось просто: техникум был достаточно “богат”, потому что содержался на средства угольной промышленности.

Наша комната была на шесть человек. Кроме меня, здесь был студент из нашей группы, когда-то учившийся в московском Литинституте и недавно отбывший ссылку в Сибири, были два геолога-второкурсника: один — с поврежденным глазом, родом из Заполярья, где он прошел через приключения, каждое из которых могло закончиться тюрьмой, другой — высокий блондин из Подмосковья, мальчишкой много бродяжничавший на поездах. Однажды он добрался до Владивостока, но на обратном пути его задержали в Биробиджане (главном городе Еврейской автономной области). Рассказывая об этом, он возмущался:

— Ты понимаешь?! Там даже милиционеры евреи!

И были два первокурсника-казаха. Приехавшие из степной глубинки, они вскорости куда-то исчезли: или бросили учебу, или перевелись в другой техникум. Один из них что-то слышал о “городском обхождении”, потому что, сказав: “Извини!”, он мог оттолкнуть стоявшего на пути или бесцеремонно взять нужную ему вещь, например, чертежный инструмент. Когда ребята возмущались, он удивлялся:

— Я же сказал: “Извини”, — что еще надо?

Старший брат второго первокурсника работал в каких-то “органах”. Этот работник органов несколько раз приходил к нам в полной офицерской форме и просил помочь брату в учебе. Но выполнить эту просьбу мы

были не в силах: его братец был настолько слаб, что казалось, что он никогда не учился в школе.

Началась наша студенческая жизнь. Нам сшили горняцкую студенческую форму — черную куртку с “золотыми” пуговицами и черные брюки, выдали форменную черную шинель и фуражку с “молотками”. Мы носили эту форму с гордостью, она была и повседневной, и парадной (другой приличной одежды у нас просто не было).

Наших преподавателей я вспоминаю с благодарностью. Они не только глубоко знали и ярко преподавали свои предметы, они воспитывали нас своей манерой обращения и даже своим внешним видом. Горную электротехнику у нас преподавал представительный пожилой немец. Во время перемены я по школьной привычке хотел заглянуть в лежащий перед ним журнал с оценками. Повернувшись ко мне, он сказал:

— Молодой человек, нехорошо читать чужие записи.

Я смутился, а он, улыбнувшись, сказал:

— Ничего, ничего, вы не виноваты, виновато ваше воспитание.

У многих студентов были, как теперь говорят, свое хобби. Кто-то увлекался спортом и пропадал в спортивном зале, кто-то часами просиживал за шахматами, некоторые участвовали в художественной самодеятельности, которая в техникуме была очень сильной. В эстрадном оркестре, например, у нас играли студенты, имевшие музыкальное образование. А в струнном оркестре, где я играл на домре-приме, некоторые ребята были просто виртуозами.

До участия в струнном оркестре я пробовал учиться игре на баяне (по самоучителю). Какие-то вещи я уже играл, но дальше дело не пошло: моя пальцовка была поставлена для игры на гармошке, а самому переучиваться было трудно.

На первую стипендию я приобрел простенький фотоаппарат “Комсомолец” и увлекся фотографией. Снимки получались небольшого формата (шесть-на-шесть, как мы говорили). Потом я купил еще такой же фотоаппарат, а из первого сделал широкоплечный увеличитель. Я убрал у него заднюю крышку, на ее место положил несколько слоев самодельного “матового” (натертого наждачкой) стекла. Фотоаппарат закрепил в горловине бидончика из белой жести, а через его дно пропустил шнур с электролампой. В учебной мастерской мне помогли сделать кронштейн из водопроводных труб. Увеличитель получился довольно грубым, но он функционировал: я мог делать позитивы любого формата.

Фотографии я печатал по ночам и для глянцеваания наклеивал их мокрыми на оконные стекла. По утрам нас будил треск отскакивающих от стекол фотографий, высушенных ранним солнцем.

На деньги, заработанные на первой производственной практике, я купил малоформатную камеру ФЭД и старый увеличитель. Качество моих снимков улучшилось, я стал даже зарабатывать фотографией. Обо мне заговорили как о хорошем фотографе и приходили “сниматься” целыми группами. Но мой секрет был прост: я никогда не отдавал плохие фотографии, говорил, что снимки не получились, и повторял съемку.

В сентябре 1952 года у меня была первая производственная практика. Проходил я ее на очень старой шахте “19-основная”. Нас, двух студентов, включили в бригаду проходчиков, проходивших главный штрек — большую горную выработку. Часть забоя проходили по углю, часть — по крепкому песчанику. Электросверлами (“баранами”) мы бурили шпуры, вместе с запальщиком заряжали их взрывчаткой и потом взрывали. Взорванную горную массу грузили лопатами в вагонетки, которые вручную откатывали к наклонному стволу. С помощью “баранчика” (тросика со штангой, на конце которой был крючок, напоминавший поросычий хвост) мы цепляли вагонетки за постоянно движущийся “бесконечный” канат, который поднимал их на поверхность. Потом крепили забой (ставили П-образные рамы из толстых бревен), и цикл повторялся: бурились шпуры, их взрывали и т. д.

Нам, юнцам, не имевших нужных навыков, работать в забое было трудно и особенно было тяжело грузить породу лопатой. Мы обратили внимание на стоявшую без действия углепогрузочную машину (похожую на теперешнюю снегоуборочную машину). Неисправность оказалась несложной, машину мы починили и остаток смены грузили породу только ею. В другие две смены машина, не рассчитанная на крепкий песчаник, ломалась, но мы опять чинили и продолжали механическую погрузку. Так повторялось много раз.

Потом нас, студентов, перевели на проходку водосборника, небольшой выработки по углю. Технология работ была такой же, только груженные вагонетки откатывались к стволу конной тягой. Для этого у нас была небольшая лошадь. Когда вагонетки не откатывались, лошадка мирно, как где-нибудь в деревне, жевала в сторонке душистое сено. Раз в неделю ее выводили на поверхность по старому наклонному стволу. В стволе нередко свисали сломанные верхняки (деревянные бревна), о которые лошадь иногда ударялась. На голове у лошади была фибровая шахтерская каска с прорезями для ушей, которая ее защищала.

Шахтерские смены длились тогда по восемь часов, а с учетом процедур на поверхности (выслушивание наряда, получение и сдача шахтерских ламп и самоспасателей, мытье в шахтерской бане) и с учетом времени на длительный пеший спуск и на еще более длительный подъем по полуразрушенному наклонному стволу фактическая длительность смены достигала десяти часов и более. Но я был молод и, по всей видимости, полон сил, потому что втянулся в шахтерскую работу, не стал уставать и в конце практики мне даже нравилось работать проходчиком.

На второй, уже преддипломной, практике я работал подменным мастером на шахте Кирова. В лаве, где добывали уголь, я подменял горных

мастеров в их выходные дни или дежурил в ремонтные смены. Для меня здесь были другие трудности: приходилось на ходу учиться управлять конкретным производством, нередко ошибаясь, особенно вначале. Но мне подсказывали бригадиры, а опытные шахтеры сами делали все правильно.

На карагандинских шахтах, особо опасных по газу и угольной пыли, довольно часто происходили взрывы метана, обвалы, пожары, и все с человеческими жертвами. Мы об этом знали, но под землей об опасностях совсем не думалось.

22. “Ограничения”

Когда в детдоме я узнал, что меня разыскивает какая-то “комендатура”, в этом слове мне слышалось что-то романтическое. Из книг я знал, что есть военная комендатура, есть комендатура Кремля, у Пушкина я читал о коменданте крепости. И встречи с разыскивающей меня “комендатурой” я ждал с интересом.

Комендант, которого я увидел в Темир-Тау, не разочаровал моих ожиданий: это был высокий подтянутый военный. Какой комендатуры он комендант, я не знал, о существовании какой-то “спецкомендатуры” не имел представления.

Через месяц после моего приезда, в начале ноября 1948 года наступило мое совершеннолетие: мне исполнилось 16 лет. В местной милиции вместо паспорта мне выдали справку об удостоверении личности, — каждые полгода ее надо было обновлять. В спецкомендатуре меня поставили на учет (на “отметку”, как тогда говорили) и сказали, что теперь я каждый месяц должен приходить сюда “отмечаться”.

Для меня все это было полной неожиданностью и после вольной детдомовской жизни подействовало на меня угнетающе. Потом, конечно, пришлось свыкнуться (как привыкает пес к своей цепи), но внутренний протест против этой несправедливости (никаких преступлений я ведь не совершал) остался у меня на всю жизнь.

Еще в Сибири, когда мне не было и десяти лет, я уже понимал, что наше выселение и все наши беды происходят из-за того, что у нас такая же национальность, как и у тех, кто воюет против нашей страны. Потом я стал постарше и стал понимать, что трудно не только нам, трудно всем, и все из-за того, что идет страшная война. Война закончится, думал я, и все будет так же, как до войны. А теперь, когда после войны прошло уже три года, для нас, оказывается, не только ничего не изменилось, но все стало хуже: режим ссылки становился все жестче и жестче. В сорок пятом для спецпереселенцев ввели спецкомендатуры, а в год моего приезда в Темир-Тау вышел указ, в котором было объявлено, что нас выслали навечно и что каждый, кто выйдет за пределы места проживания, получит 20 лет каторжных работ.

Еще одной мерой ужесточения было введение так называемых, десятидворок. Я был школьником, учился в десятом классе, когда “десятидворкой” назначили меня. Каждую неделю я должен был приходить в комендатуру, чтобы отчитаться, на месте ли ссыльные и спецпереселенцы, живущие на нашей улице. Приходилось делать поквартирные обходы, и это было самым неприятным. Подходишь к квартире какого-нибудь поселенца, стучишься, хозяева открывают и, увидев меня, мальчишку-проверяющего, мрачнеют. Я о чем-то их спрашиваю, они отвечают, но я чувствую: они ждут, не дождутся, когда я уйду. Идешь к следующему поселенцу, и там все повторяется...

Однажды меня срочно вызвали к коменданту, который встретил меня с криком, с угрозами посадить в тюрьму. Из его крика я понял, что сбежала молодая немка, живущая на нашей улице. Накричавшись, комендант встал, надел шинель и, как я понял, повел меня в тюрьму. Мы вышли в коридор, где группа женщин ждала приема к коменданту. Я шел потрясенный, бледный, как стена, и по моему виду женщины поняли, что меня за что-то наказывают. Они обступили коменданта:

— Куда вы ведете мальчишку? Что он такого сделал?

То ли эти женщины помогли, то ли комендант хотел меня просто поугатать, но он развернулся и ушел в кабинет. Женщины о чем-то спрашивали, но я не мог отвечать и побрел домой.

Потом, конечно, выяснилось, что “сбежавшая” никуда не сбежала, а просто съездила без разрешения в Караганду на базар.

Спецкомендатура имела большую власть над нами, своими “подопечными”. Комендант при желании мог любому из нас испортить жизнь. Мог навязать какую-нибудь дополнительную обязанность (как это было со мной), мог не дать разрешения на выезд за пределы города (на дальний сенокос или на базар), мог направить на тяжелую или вредную работу, и т. д. А когда спецпереселенец работал в местах, где можно было пожить (на торговом складе, в магазине, на мясокомбинате, и т. п.), комендант пользовался своей властью для постоянных поборов. Он регулярно приходил к отцу в колбасный цех и бесплатно нагружался там мясом и колбасой. Видимо, ему однажды не доложили (его требования не всегда можно было выполнить), и, чтобы усилить давление на отца, он и назначил меня, подростка, “десятидворкой”.

“Десятидворкой” я пробыл около полугода, до самого отъезда в Караганду. Все эти полгода я вынужден был “отмечаться” не каждый месяц, как все спецпереселенцы, а фактически каждую неделю.

Когда в августе 1951 года я приехал в Караганду и поступил в техникум, в спецкомендатуре Нового города нас сразу же поставили на учет. Комендантский режим здесь был еще жестче, чем в Темир-тау. Было запрещено не только выходить за черту города, но даже посещать другие городские районы. В магазинах тогда мало что можно было купить, все покупали на вещевом рынке, который находился в другом районе, в

Старом городе. Приходилось ездить на рынок тайком, и эти “незаконные” поездки могли обернуться для нас большими неприятностями.

Комендатура постоянно нас контролировала, и в одно из воскресений проверяющие не нашли в общежитии нас с Николаем Кариусом (мы как раз были на вещевом рынке). На следующий день они специально пришли, чтобы допросить нас: где мы были вчера? Пришлось изворачиваться, что-то придумывать.

Стипендии не хватало, и многие студенты ездили к родителям за продуктами. Для студентов-спецпереселенцев такие поездки оказывалась целой проблемой. Поездка в Темир-Тау считалась “поездкой в другой город” (хотя до Темир-Тау было всего 30 километров) и получить разрешение мы должны были не в районной спецкомендатуре, а в областном управлении МВД. Заявления мы подавали заранее, почти за неделю, но с выдачей разрешения обычно затягивали, и я часто не успевал на поезд. Автобусного сообщения не было, приходилось добираться на попутных грузовиках. Иногда мы уезжали, не дождавись разрешения, но тоже на попутках (на железной дороге могли задержать при проверке документов).

После смерти Сталина режим спецкомендатур стал ослабевать. Нам выдали настоящие паспорта, в которых, правда, стояла большая печать с надписью: “Разрешается проживать в пределах Карагандинской области”. Эту печать все называли “ограничением”.

Спецкомендатуру окончательно ликвидировали в 1956 году. Нам выдали чистые, без прежней печати, паспорта, но обязали подписать бумагу, в которой ставили в известность, что нам запрещено возвращаться в места, откуда нас высылали. Иными словами, “ограничения” (и не только в этом) остались, мы продолжали быть людьми второго сорта.

После всего этого у меня навсегда осталась ненависть к режиму, в котором нам пришлось существовать еще несколько десятилетий. В период “оттепели” мне даже предложили вступить в коммунистическую партию — это, конечно, помогло бы мне в карьере и облегчило бы жизнь. Но я под разными предлогами отказался: я хорошо знал, что это за “партия”.

И все эти десятилетия я жил со стремлением доказать, что я не человек второго сорта. И очень надеюсь, что мне это удалось.

23. Наум Коржавин

Когда группа РУМ-51Д собралась в первый раз, я обратил внимание на странного парня в сером свитерке — невысокого роста, с крупной головой на узких плечах, с большими очками на мягком лице. Он как-то неловко двигался и при быстрой ходьбе излишне размахивал руками.

Парень был старше меня (мне было восемнадцать, а ему — двадцать пять).

Непрезентабельный его вид резко контрастировал с четкой выразительной речью. Первое, что пришло мне в голову, — это “говорок”, языкастый лагерник (таких я встречал). Он подошел, мы разговорились. Оказалось, что он москвич, бывший студент Литературного института и зовут его Наум Мандель (теперь он известен как поэт Наум Коржавин). В Москве его арестовали, сколько-то времени он провел в тюрьме, потом сослали в Сибирь. После ссылки ему не разрешили вернуться в Москву, и он приехал в Караганду (где-то здесь жил его “дядька”, как он говорил). Кроме, как писать стихи, он ничего не умел, специальности у него не было, и он поступил в горный техникум, где давали стипендию и место в общежитии.

В Караганде находилось много политических ссыльных, и среди них была группа столичной молодежи, знавшей Наума еще по Москве. Это были студенты, журналисты, молодые ученые. Все они жили в землянках Михайловки, недалеко от Нового города, который уже тогда был культурным центром Караганды. Когда Наум поселился в студенческом общежитии, молодежь потянулась к нему на “огонек” и допоздна засиживалась в нашей комнате.

Когда я познакомился с ними поближе, мне открылся другой, незнакомый мне мир. Я с интересом слушал, как они рассказывают о Москве, вспоминают общих знакомых, среди которых были известные люди. Говорили и часто спорили о литературе.

Некоторые их привычки казались мне странными. Взрослые люди, они называли друг друга детскими именами. Наума, например, они звали Эмкой (от имени Эммануил), Александра Есенина-Вольпина — Аликом, журналиста Юрия Миронова — Юркой. У молодой женщины, у которой недавно арестовали мужа, было загадочное имя Вавка. Кстати сказать, меня, мальчишку, всегда волновал ее облик: в нем было что-то загадочное, блоковское. Вот сцена в нашей комнате — стройная, в узком черном платье, с тонкими чертами лица, она сидит в стороне от всех и задумчиво курит папиросу, держа ее тонкими пальцами. Позднее у нас появилась Зайка, молоденькая студентка-москвичка, похожая на стройную южную казашку. Это была Заяра Веселая, младшая дочь писателя Артема Веселого, расстрелянного в тридцатые годы.

Я тоже называл их детскими именами, но звать Наума по девчоночьи Эмкой мне казалось несуразным. И в последующие годы московские друзья продолжали звать его Эмкой, но для меня он всегда оставался Наумом — в какой-то мере в память о нашей с ним карагандинской молодости.

Иногда к нам приходил Алик Есенин-Вольпин (сын Сергея Есенина). Светловолосый худощавый молодой человек несколько болезненного вида, он был мало похож на своего отца. Несмотря на молодость, он был уже кандидат наук (в каких-то заумных областях математики). Зная это,

я донимал его тоже “заумными” вопросами, вроде — что такое теория относительности или как понимать четвертое измерение.

Осенью 1951 года в местном ресторане мы отмечали день рождения Наума. Нас было несколько студентов, и с нами был Алик. Выпив цимлянского, он преобразился, его лицо посвежело, и он стал удивительно похож на Сергея Есенина. Мы все вместе провожали его домой, и в темноте Михайловки он читал нам свои стихи (что-то про одинокий корабль в бушующем море).

Нас с Наумом часто видели вместе, и не только потому, что мы жили в одной комнате и учились в одной группе. Мне было интересно с ним общаться: он был старше меня и знал жизнь. И еще потому, что он литератор и поэт, и просто потому, что он умный и незаурядный человек. В наших разговорах мы затрагивали самые разные темы, среди которых были и очень серьезные. Инициатором таких тем чаще всего был Наум, и он же был, если можно так выразиться, главным докладчиком. И понятно почему: ему надо было поделиться своими мыслями, так как от литературной среды он был оторван, от читателей изолирован (первый его сборник вышел только через десять лет).

Литературу я знал только в объемах школы и от Наума узнавал много такого, о чем раньше не имел представления. Когда он говорил о литературе, для него не существовало авторитетов и на все у него было свое, ни от кого не зависящее мнение. Он мог, например, сказать, что у Некрасова какие-то стихи недоработаны, или мог нелестно отозваться о модном поэте. Он рассказывал о встречах с известными поэтами и писателями. Откуда-то он принес сборник стихов Сергея Есенина, изданный еще в двадцатых годах, и многие есенинские стихи я прочитал тогда впервые. У меня был двухтомник Маяковского, которого я любил еще со школы, томик Блока. Стихи этих и других поэтов часто звучали в нашей комнате. Он читал мне свои стихи прошлых лет, показывал вновь написанное.

В наших разговорах не обходили мы и политику. О советском режиме, о карагандинских его несуразностях Наум говорил с таким возмущением, что приходилось его останавливать, особенно, когда рядом были посторонние. Таким явлениям, как массовые репрессии, борьба с космополитизмом, “дело врачей”, он давал свои оценки, которые после смерти Сталина полностью подтвердились.

Как и любые студенты, попадали мы и в разные истории. Как-то в коридоре общежития мы встретили студента из нашей комнаты, который где-то напился и еле стоял на ногах. Мы с трудом затащили его в комнату. Мы не заметили, что за нами наблюдал вновь назначенный комсорг техникума. По его докладу на другой день появился приказ, в котором нам троим объявлялся выговор, как говорится, “за пьянство”. За такой выговор снижали оценку по поведению и автоматически лишали стипендии. Для нас и особенно для Наума это было катастрофой: других средств к существованию у него не было. Директор техникума, знавший, что Наум московский поэт, относился к нему с уважением, и с

недоразумением быстро разобрались. Стипендии нас не лишили, но выговор “за пьянство” у нас остался — в острастку четырнадцатилетним первокурсникам, которые, получив первую стипендию, часто попадали в пьяные истории.

Первую производственную практику Наум проходил на одной из шахт. Он был десятником вентиляции — контролировал работу газомерщиц, производивших замеры метана в шахтном воздухе: по длине пламени в специальной керосиновой лампе, и наблюдал за соблюдением правил безопасности. Наум говорил, что на шахте не очень-то следуют этим правилам и, если так пойдет дальше, шахта наверняка взорвется. И, действительно, через несколько месяцев на шахте был взрыв метана, погибли люди.

Со временем о Науме узнали, в местных газетах стали печатать его стихи. Каждое их появление было для нас событием, которое мы по-студенчески отмечали.

Учиться ему было труднее, чем мне: у меня свежи были школьные знания. Да и по натуре он был настоящим гуманитарием, далеким от технических премудростей.

Как бы там ни было, Наум закончил техникум. Какое-то время он работал в карагандинской газете, потом уехал в Подмосковье, а позднее жил в Москве. В начале семидесятых его стали притеснять, и он вынужден был уехать в США.

После техникума мы с ним встречались от случая к случаю. Но наша дружеская связь, которая зародилась в студенческие годы, никогда не прекращалась.

24. Жаркое лето 53-го

Если верить известному фильму “Холодное лето 53-го”, холодным было лето на Колыме, а в Караганде лето в тот год было сухим и жарким. Я проходил преддипломную практику на шахте имени Кирова. Поднимаясь из шахты после ночной смены, я вспомнил, что не ответил на последнее мамино письмо. Надо будет еще раз написать, что, когда я закончу техникум и устроюсь на работу, я вызову ее к себе.

Переписка с мамой началась где-то в январе этого года. Она разыскала мой адрес и прислала длинное, много раз сложенное в гармошку письмо. Она описала, что с ней произошло за прошедшие десять лет. В начале 43-го, после мобилизации в трудармию, ее вместе с другими женщинами привезли в Бурят-Монголию. Работала она на лесоповале, а потом на свиноферме. В последние годы находилась на поселении в Улан-Удэ, работала в детском саду. В своем письме она задала мне много вопросов, спрашивала и про отца.

Я ей ответил, рассказал о своих приключениях, сообщил, что учусь в горном техникуме, после которого буду работать на шахте. Написал, что

знал, и про отца. Письма от нее приходили часто, я отвечал. Мы строили планы, как она приедет ко мне и как мы будем жить вместе.

...Поднявшись на поверхность, я сдал самоспасатель и шахтерскую лампу, помылся в бане, переоделся и на трамвае поехал в студенческое общежитие. Там меня остановила дежурная:

— Роберт, тебе звонила твоя мама. Она ждет на вокзале в Старом городе.

Я с недоумением посмотрел на нее: она что-то напутала, я только что собирался писать маме в Бурят-Монголию.

На вокзал я, конечно, поехал, все еще не веря, что это действительно мама. Трамвай долго вез меня до Старого города, потом надо было идти пешком. Был уже полдень, когда я вошел в старое здание вокзала. В дальнем углу пустого полутемного зала одиноко сидела невысокая, совершенно седая женщина. Я сразу понял, что это мама. С плачем она кинулась ко мне, мы обнялись...

Можно представить, что она переживала: мы не виделись десять лет, она оставила меня десятилетним мальчиком, а теперь я уже взрослый, мне шел 21-й год. Я тоже был потрясен этой встречей.

После первых минут я спросил, где ее вещи. Не переставая плакать, она сказала, что вещей у нее нет, что у нее все пропало. Немного успокоившись, она сказала, что в дороге с ней много чего произошло, она потом расскажет.

Остановилась она у хороших, как она сказала, людей, с которыми познакомилась в поезде, и первое время побудет в их доме.

Мы направились в этот дом. Хозяевами были пожилая чета лет шестидесяти. Был еще их сын-инвалид лет сорока с искалеченной от рождения ногой. Там же я встретился с маминым конвоиром, сопровождавшим ее в дороге. Это был какой-то блеклый человек в выцветшей солдатской форме. Почему-то он все время виновато улыбался.

Возвращаясь в общежитие, я думал о случившемся. Через несколько дней маму надо будет увозить от принявших ее людей, для этого нужно снять квартиру, а денег на это у меня нет (зарплату на шахте я получу недели через две). И как ей жить, пока я учусь, я тоже не знал.

С этими проблемами я поехал к отцу. Отец сразу же сказал, что с мамой он жить не будет: слишком много накопилось у них того, в чем они будут упрекать друг друга всю жизнь. Он дал мне денег на квартиру, и с тем я уехал.

Но квартира маме не понадобилась: в первые же дни она нашла себе работу. Она устроилась няней в детский сад, и там же ей выделили угол

для жилья. Детский сад находился недалеко от нашего общежития, и мы могли часто встречаться.

Как-то я спросил, почему она приехала, не дождавшись, когда я окончу учебу и устроюсь на работу.

— Если бы я не приехала, ты попал бы на рудники Бурят-Монголии, где люди быстро умирают.

И действительно, в Бурят-Монголии было много подземных рудников, где добывались руды цветных и редкоземельных металлов (свинца, цинка, молибдена и т. д.). Средства защиты были слабые, вредная рудная пыль быстро отравляла людей. Говорили, что на свинцовом руднике человек не выдерживал и одного года. Работали на этих рудниках заключенные и немцы-трудоармейцы, а после ликвидации трудармии на рудники стали направлять спецпереселенцев.

Когда в спецкомендатуре узнали, что ее сын заканчивает горный техникум, маме сказали, что на местных рудниках не хватает специалистов и они затребуют ее сына в Бурят-Монголию. Дурная слава этих рудников была известна, и, чтобы спасти меня от них, она правдами и неправдами добилась, чтобы ее перевели в Караганду еще до окончания моей учебы.

До Караганды ей предстояло ехать поездом — неделю до Петропавловска, там сделать пересадку и еще сутки до Караганды.

С какой-то политической целью в 1953 году была устроена массовая амнистия уголовников. Об этом много писали, остались воспоминания очевидцев (об этом же был и упоминавшийся выше фильм “Холодное лето 53-го”).

По стране разъехались тысячи воров и убийц, практически безнаказанно грабя и убивая людей. В окруженной лагерями Караганде мы это почувствовали сразу. В городе и прежде было беспокойно, но тут резко участились грабежи, убийства, случаи злого хулиганства. Даже говорили, что в городе свирепствует банда “Черная кошка”.

Вот такое это было время, когда мама в сопровождении конвоира села на проходящий поезд “Хабаровск–Москва”.

В поездах, идущих в сторону Москвы, и в обычные времена было достаточно уголовников, которые возвращались после отсидки в лагерях Дальнего Востока, Магадана, Колымы. А тут была массовая амнистия... Мама знала криминальный мир (в трудармии ей приходилось работать вместе с заключенными-уголовниками), поэтому она быстро определила, что в поезде едет банда. За долгую дорогу в поезде было множество краж, пропадали люди. В ее вагоне пропал молодой летчик, а в его летной форме стал щеголять один из бандитов. Мама это видела и была настороже.

Бандиты приставали к маминому конвоиру, допытывались, не из охранников ли он. Тот клялся и божился, что он демобилизованный солдат и едет домой (свои погоны он спрятал в сапоги).

Мама любила одеться поярче и в вагоне ходила в шелковом халате. Бандиты давно к ней приглядывались, считая, что она богачка. Уголовниками они были, судя по всему, высокого класса, потому что, несмотря на всю мамину бдительность, они ночью, перед прибытием в Петропавловск, смогли украсть ее чемодан. В нем были все мамнины вещи, все документы и все деньги. Мама рассказывала, что ее конвоир не спал и все видел, но от страха молчал.

В Петропавловске мама сразу же отправилась в милицию, где заявила о своем несчастье. Она сказала, что в поезде орудовала банда и эта банда ее обворовала. В своем заявлении она перечислила все, что у нее украли, и описала членов этой банды.

Потом она вышла на улицу и присела на скамейку у входа в милицию. По соседству находилась городская баня, и мама обратила внимание на мужчину и женщину, идущих с сумками в баню. Она сразу их узнала: они были из этой банды. Мама забежала к дежурному:

— Задержите этих двоих, это бандиты!

В сумке у задержанной женщины оказалось мамино белье, с которым она шла в баню, и этих двоих арестовали.

Начались долгие допросы, очные ставки, в которых маме приходилось участвовать. За неделю переловили всю банду. Бандиты знали, что именно мама была причиной их провала, и постоянно клялись ей отомстить. Их мести мама боялась до самой смерти.

Бандитов поймали, но из ее вещей нашли очень мало — немного белья, часть документов и облигации, которые ничего не стоили. Мама особенно переживала, что пропал костюм и наручные часы, которые она везла мне в подарок.

В Петропавловске она пробыла недели две. Все это время ее привлекали к разоблачению бандитов, которых допрашивали обычно по ночам. Она находилась на пределе своих сил, когда вместе с конвоиром ее отправили в Караганду. Через сутки, без вещей и без денег, она наконец прибыла в Караганду “на соединение с сыном”, как официально писалось.

* * *

Закончив практику, я написал дипломный проект, и после его защиты мне торжественно вручили первый в моей жизни диплом — диплом техника по разработке угольных месторождений. Это произошло в ноябре 1953 года.

Я поступил на работу — взрывал уголь и горную породу на карагандинских шахтах. На такой работе, как у саперов, ошибиться можно было только раз...

Впереди была такая непростая взрослая жизнь.

Что было потом

Работа на шахтах была посменной, и, чтобы учиться по вечерам, я перешел в проектный институт “Карагандагипрошахт”. В 1961 году закончил (с отличием) вечернее отделение Горного института, в 1971 году защитил в Москве диссертацию.

В проектном институте я проработал почти сорок лет. Начиная с младшего техника, закончил вице-президентом проектной фирмы. По разработанным нами проектам были построены крупнейшие угольные разрезы Казахстана и Средней Азии. Такие, например, как разрез “Богатырь”, который добывал каменного угля больше, чем все карагандинские шахты вместе взятые (теперь этим разрезом владеют американцы).

Несколько лет преподавал на горном факультете института, доцент.

С приходом Перестройки появилась возможность сотрудничать с зарубежными фирмами, — я несколько раз был в Германии, был в США, в Австралии, в Японии.

Моя работа в угольной промышленности в какой-то мере была оценена и официально: я полный кавалер знака Шахтерская слава, имею правительственные награды, с 1988 года лауреат Государственной премии СССР.

Женился я рано, в 22 года. Жена Таисия Константиновна, урожденная Скрябина, с ней мы прожили уже более пятидесяти лет. У нас дочь и сын, а теперь еще и три внучки.

На дворе 2007 год. В этом году мне будет семьдесят пять, хороший повод подводить итоги. И я могу сказать, что, несмотря на непростое детство и многолетние “ограничения”, я доволен своей судьбой. Я смог получить образование, я занимался интересным и нужным для людей делом, у меня хорошая семья.

Что еще нужно человеку?

* * *

В феврале 2006 года я разыскал по интернету двух своих одноклассников. В 1951 году мы закончили десятилетку, они поступили в институты, меня не выпустила спецкомендатура. С тех пор я потерял их след.

Когда я созвонился с одним из них, постоянным нашим отличником, и каждый поведал, как прожил эти годы, он сказал:

— Все эти трудности и ограничения были для тебя “сопротивлением среды”. Постоянно преодолевая это “сопротивление”, ты и смог чего-то добиться.

Возможно, что и так...

2007

Читать: <http://magazines.russ.ru/continent/2008/137/rr6-pr.html>